

АЗБУКА ВЕРЫ



Ценой потери - Грин Грэм

Художественная литература 2020

Ценой потери - Грин Грэм

Оглавление

[Часть I](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Часть II](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Глава четвертая](#)

[Часть III](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Часть IV](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Часть V](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Часть VI](#)

[Глава первая](#)

[Глава вторая](#)

[Глава третья](#)

[Комментарии](#)

Доктору Мишелю Леша

Дорогой Мишель,

Надеюсь, Вы разрешите посвятить Вам этот роман, обязанный тем, что в нем, может быть, есть хорошего, Вашей доброте и Вашему терпению; все его недостатки, ошибки и промахи лежат исключительно на совести автора. Доктор Колэн перенял у Вас только опыт в борьбе с проказой, и ничего больше. Лепрозорий доктора Колэна — это не Ваш лепрозорий, который, вероятно, и не существует теперь. Я поместил своего Колэна в местах, далеких от Йонды. Разумеется, все лепрозории в чем-то схожи между собой, и, может быть, я взял некоторые чисто внешние черты у Йонды и у других лепрозориев Конго и Камеруна, где мне пришлось побывать. В Вашей миссии я позаимствовал сигары настоятеля, и только, а у Вашего епископа — самоходную баржу, которую он так великодушно предоставил мне для поездки вверх по Руки. Разыскивать прототипы Куэрри, четы Рикэров, Паркинсона, отца Тома было бы пустой тратой времени, они сделаны из материала, скопившегося у меня за тридцать лет писательской работы. Эта книга не roman а clef^[1], а попытка дать драматическое выражение различным типам веры, полуверы и неверия в той обстановке (далекой от мировой политики и от мелких повседневных забот), где такие различия чувствуются резко и всегда проявляются вовне. Мое Конго — это сфера мысли, и читатель ни на одной карте не найдет города под названием Люк, ни в одном административном центре не встретит ни такого губернатора, ни

такого епископа.

Вам скорее, чем кому бы то ни было, будет видно, насколько выполнение моего замысла далеко от совершенства. Ведь у врачей нет иммунитета к «тоске, тебя гнетущей: как ни старайся, все не так, все плохо!» — к той *safard*^[2], что омрачает жизнь писателя.

Io non mori', e non rimasi vivo.

Я не был мертв, и жив я не был тоже.

Данте. «Ад». Песнь 34.

Человеку свойственно любить себя — в пределах нормы. Когда же он страдает каким-либо врожденным или приобретенным дефектом или уродством, его эстетическое чувство восстает против этого и в нем возникает отвращение к самому себе. Правда, с годами он примиряется со своими дефектами, но происходит это лишь в сфере сознания. Подсознательная сфера, не изжившая следов ущербности, вносит изменения в его психику, рождая в нем недоверчивость к людям.

Р.В. Вардекер. Из брошюры о лепре

Часть I

Глава первая

1

Каютный пассажир записал в свой дневник пародию на Декарта^[3]: «Я испытываю неудобства, следовательно, я существую», потом долго сидел, держа перо на весу, так как добавить к этому было нечего. Капитан в белой сутане стоял у раскрытого окна салона и читал требник. Ветра не хватало даже на то, чтобы шевельнуть бахромку его бороды. Эти двое вот уже десять дней были одни на реке — одни, если не считать, конечно, команды из шестерых африканцев и десяти палубных пассажиров, которые менялись почти незаметно на каждой остановке. Самоходная баржа, принадлежавшая епископу, напоминала колесные пароходики, которые когда-то бегали по Миссисипи: какая-то вся помятая, сильно нуждающаяся в покраске, с высоким, девятнадцатого века, полубаком. Из окон салона была видна бесконечно разматывающаяся река, а внизу, на понтонах, среди дров для машинного отделения сидели, расчесывая волосы, палубные пассажиры.

Если отсутствие перемен равнозначно покою, то вот это и был покой, но до него приходилось добираться сквозь неудобства, как до ядрышка ореха, закованного в твердую скорлупу: жара, которая обволакивала их, когда река сужалась до каких-нибудь ста метров; душ, всегда теплый от близости машинного отделения; вечером — москиты, а днем — мухи цеце со скошенными назад крылышками, точь-в-точь как крохотные реактивные истребители. (В последнем поселке щит у берега предупреждал на трех языках: «Зона сонной болезни. Остерегайтесь мух цеце».) Капитан читал требник с хлопущей в правой руке и, совершив очередное убийство, поднимал двумя пальцами крохотный трупик, показывал его пассажиру и говорил: «Цеце». Общение между ними, пожалуй, этим и ограничивалось, потому что каждый из них изъяснялся на языке своего собеседника с запинкой и с ошибками.

Вот как примерно проходил день за днем. Утром, в четыре часа, пассажира будило треньканье колокола в салоне, возвещающего «санктус», и вскоре за окном каюты (там помещались стул,

стол, шкафчик, где шныряли тараканы, распятие и дань тоске по родине — фотография какой-то европейской церкви, укутанной в пушистую сутану снега) на сходнях появлялись прихожане, возвращающиеся домой. Он смотрел, как они взбираются на крутой берег и исчезают в джунглях, помахивая на ходу фонарями, точно псалмопевцы в том поселке в Новой Англии, где ему пришлось побывать как-то на святках. Около пяти баржа снова трогалась в путь, а в шесть, на восходе солнца, пассажир сел за завтраком вместе с капитаном. Следующие три часа, до начала страшной жары, были для них обоих лучшими за весь день, и пассажир замечал за собой, что он может сидеть и спокойно смотреть на быструю, илистую, бурю речную волну, напор которой маленькое суденышко преодолевало со скоростью двух-трех узлов в час, и на большое колесо, взбивающее пену за кормой; может сидеть и слушать сиплое, точно у загнанного зверя, дыхание машины где-то под алтарем и святым семейством. Не слишком ли много усилий для такого медленного продвижения? Через каждые три-четыре часа впереди показывался очередной рыбацкий поселок с хижинами на высоких сваях в защиту от тропических ливней и крыс. Время от времени кто-нибудь из команды окликал капитана, и капитан брал ружье и стрелял в маленькую примету жизни, различить которую среди зеленых и синих теней леса могли только его глаза да глаза матроса: в крокодильего детеныша, пригревшегося в лучах солнца на упавшем дереве, или в орла-рыболова, неподвижно застывшего в листве. К девяти жара начиналась не на шутку, и капитан, покончив с утренним чтением требника, смазывал ружье или убивал еще несколько мух цеце, а то, сев за стол с коробкой дешевых бус, принимался низать из них четки.

После дневной трапезы, когда джунгли, залитые изнуряющим солнцем, неторопливо проплывали вдоль борта, оба они расходились по своим каютам. Пассажир долго не засыпал, даже если раздевался догола, и все не мог решить, что лучше — устроить в каюте хоть маленький сквозняк или затвориться наглухо, спасаясь от раскаленного воздуха. Вентилятора на барже не было, и по утрам он просыпался с отвратительным вкусом во рту, а под теплым душем можно было только помыться, но не освежить тело.

В конце дня оставались еще часа два относительного покоя; в ранних сумерках он сидел внизу на понтоне, а вокруг него африканцы толкли свое месиво на ужин. Над деревьями попискивали вампиры^[4], пламя свечей колыхалось, как когда-то в его юности, за «бенедиктусом» в конце мессы. Хохот стряпух перелетал с понтонна на понтон, и вскоре кто-нибудь затягивал песню, но слова ее были непонятны ему.

За ужином приходилось затворять в салоне окна и задергивать занавески, чтобы рулевому был виден фарватер между берегами и корягами, торчащими из воды, и тогда калильная лампа невыносимо нагревала маленькое помещение. Оттягивая час отхода ко сну, они начинали партию в quatre cent vingt et un^[5] — без единого слова, точно разыгрывая какую-то ритуальную пантомиму, и капитан каждый раз оставался в выигрыше — видимо, Бог, в которого он веровал, повелевающий, как говорят, силой ветра и волн, повелевал и игральными костями в пользу своего служителя.

Вот тут-то и было самое время поговорить на ломаном французском или ломаном фламандском, если б им пришла такая охота, но говорили они мало. Как-то раз пассажир спросил:

— О чем они поют, отец? Какая это песня? Любовная?

— Нет, — сказал капитан, — не любовная. Они поют только о том, что случилось за день: как им удалось купить на последней остановке хорошие горшки, а в поселке выше по реке эти горшки можно будет перепродать с выгодой, и, само собой, они поют о нас с вами. Меня

называют великим фетишистом, — с улыбкой добавил он, мотнув головой на святое семейство и выдвигной алтарь над шкафчиком, где у него хранились патроны и рыболовная снасть. Потом хлопнул себя по голой руке, убил москита и сказал: — У племени монго есть поговорка: «Москит худого не щадит».

— А обо мне что поют?

— Вот, кажется, сейчас запели. — Капитан убрал кости, фишки и прислушался. — Перевести? Это не совсем лестно.

— Да, пожалуйста.

— «Вот белый человек, он не священник и не доктор. У него нет бороды. Он приехал сюда издалека — откуда, мы не знаем — и никому не говорит, куда едет и зачем. У него много денег, потому что виски он пьет каждый вечер, а курит все время. И хоть бы кого угостил сигаретой».

— Вот это мне даже в голову не приходило.

— Я-то, конечно, знаю, куда вы едете, — сказал капитан, — но почему, вы мне не говорили.

— По дороге не проедешь из-за дождей. Единственный путь — вот этот.

— Я не о том.

Часам к девяти вечера, если река не расширялась и вести баржу в темноте было опасно, они обычно причаливали к берегу. В некоторых местах у причала валялась перевернутая полусгнившая лодка — защита от дождя для пассажиров, весьма проблематичных. Дважды капитан выгружал на берег свой древний велосипед и, подсакивая в седле, исчезал во тьме джунглей в надежде заполучить груз у каких-нибудь [colons](#)^[6] за тридевять земель отсюда, перехватив его у компании ОТРАКО — крупной монополистки в районе реки и всех ее притоков. А иногда, если время было не слишком позднее, к ним приходили неожиданные гости. Как-то раз из мокнувших под дождем зарослей выскочил большой допотопный автомобиль и в нем — мужчина, женщина и ребенок, все трое с нездоровой белесой кожей, обычной для жителей знойных, влажных мест. Мужчина выпил два стакана виски, пока они со священником жаловались друг другу на ОТРАКО, взвинтившую цены на топливо, и обсуждали беспорядки в далекой, за сотни миль отсюда, столице, а женщина сидела молча, держа ребенка за руку, и не сводила глаз со святого семейства. Кроме европейцев, к ним всегда приходили старухи в тряпках, накрученных на голову, и в платьях из такой линялой материи, что на ней почти нельзя было различить рисунка: спичечных коробок, сифонов, телефонных аппаратов и прочих игрушек белого человека. Старухи вползали в салон на коленях и терпеливо дожидались под гудящей калильной лампой, когда их заметят. Наконец капитан, извинившись, отсылал пассажира в каюту, потому что это были исповедницы и выслушивать их полагалось с глаза на глаз. И вот позади оставался еще один день.

2

Несколько дней подряд их преследовали по утрам желтые бабочки, но это было даже приятно после мух цеце. Бабочки зигзагом влетали в салон, когда только-только начинало брезжить и над рекой все еще лежал слой тумана, точно пар над чаном. Потом туман редел, и с баржи открывался вид на правый берег в кайме белых кувшинок, похожих издали на лебединую стаю. Там, где речное русло расширялось, вода была оловянного цвета, только в кильватере колесо взбивало ее до шоколадного оттенка, и зелень леса не отражалась на поверхности воды, а как

бы просвечивала из-под низу, сквозь тонкий налет олова. У двоих мужчин, которые стоя ехали в челне, тени, падавшие в воду, так удлиняли ноги, точно они шли вброд по колону. Пассажир сказал:

— Отец, посмотрите! Не напрашивается ли тут объяснение, почему ученикам казалось, будто Христос ходил по морю, как посуху?

Но капитан, целившийся в эту минуту в цаплю позади кромки кувшинок, не потрудился ответить. Он был одержим страстью убивать все живое, словно только человек имел право на естественную смерть.

На шестой день они подъехали к африканской семинарии, которая стояла на высоком глинистом берегу, уродливая, как новые краснокирпичные университеты в Англии. Капитан, преподававший когда-то в этой семинарии греческий язык, остановился здесь на ночевку, отчасти по старой памяти, отчасти для того, чтобы взять топливо по более дешевой цене, чем запрашивала ОТРАКО. Погрузку начали немедленно — молодые черные семинаристы были наготове: не дав колоколу прозвонить дважды, они начали таскать дрова на понтоны, чтобы баржа могла отвалить при первом же проблеске рассвета. После обеда миссионеры собрались в общей комнате. В сутане был только капитан. Один из миссионеров, с бородкой, аккуратно подстриженной клинышком, в расстегнутой на груди рубашке цвета хаки, напомнил пассажиру молодого офицера иностранного легиона, которого он знал на Востоке, человека отчаянного, недисциплинированного, погибшего героической, но бессмысленной смертью. Другого миссионера можно было принять за профессора экономики, третьего — за адвоката, четвертого — за врача, но в их смешливости, в чрезмерном азарте, с которым они играли в незамысловатую карточную игру, не на деньги, а на спички, чувствовалась наивность и неискушенность, присущая отшельникам, отрешенность от мира, какая бывает у путешественников, застигнутых буряном на снежном пике, или у людей, все еще скованных войной, хотя она давно отгремела в этих местах. Вечером они включили радио, послушать последние известия, но тут сказалась сила привычки, это было механическое повторение акта, который производился много лет подряд с целью, теперь уже почти забытой. Им не было никакого дела до напряженной политической обстановки в Европе, до смены европейских кабинетов; даже беспорядки — то, что происходило за несколько сот миль от семинарии, по ту сторону реки, — не вызвали у них особого интереса, и пассажир чувствовал, что здесь он в полной безопасности, что донимать назойливыми вопросами его никто не будет. Ему снова вспомнился иностранный легион. Будь он убийцей, бежавшим от правосудия, ни у кого из этих людей не хватило бы любопытства, чтобы коснуться его тайной раны.

И все же их смех почему-то действовал ему на нервы, как шумливый ребенок или джазовая пластинка. Его раздражало, что они так радуются чистейшим пустякам — даже бутылке виски, которую он захватил для них с баржи. Тех, кто сочетается с Господом Богом, подумал он, тоже можно одомашнить — этот брак такая же банальность, как и все прочие. Слово «любовь» — всего лишь равнодушное прикосновение губ, как во время мессы, «Аве Мария» — все равно что слово «дорогой» в начале письма. Брак духовный, подобно бракам мирским, держится общностью привычек и вкусов Бога и его служителей; Богу приятно, когда ему поклоняются, им приятно воздавать поклонение, но только в твердо установленные дни и часы, как отправляют в пригородах супружеские обязанности в ночь с субботы на воскресенье.

За столом засмеялись еще громче. Капитана поймали на нечистой игре, и теперь миссионеры старались перещеголять друг друга в жульничестве — воровали спички, потихоньку избавлялись от лишних карт, делали ренонс. Игра — подобно стольким детским играм! — того и гляди, могла закончиться полным хаосом. А слезы перед сном тоже будут? Пассажир резко встал из-за стола и прошелся по неудобной комнате, подальше от игроков. Со стены на него

пристально смотрел новый папа, смахивающий на чудаковатого школьного директора. На шоколадного цвета буфете лежало несколько romans policiers^[7] и стопки миссионерских еженедельников. Он раскрыл один: похоже на школьный журнал. Отчет о футбольном матче в городке, называемом Обоко, и сочинение мальчика солидного возраста «Как я провел каникулы в Европе» — продолжение следует. Настенный календарь с фотографией другой миссии: точно такая же уродливая церковь из кирпича — материала, совершенно не подходящего для здешних мест, рядом с ней дом настоятеля, обведенный верандой. Может быть, конкурирующее заведение? На фоне обоих зданий группа отцов-миссионеров — тоже смеются. Пассажир старался припомнить, когда же впервые смех стал противен ему, как дурной запах.

Он вышел в залитую луной темноту. К ночи в воздухе было столько влаги, что мельчайшие капельки ее оседали на щеках дождевой пылью. Свечи, все еще горевшие на понтонах, и ручной фонарик, с которым кто-то ходил по палубе, показывали ему, где пришвартовалась их баржа. Он повернул от реки и нашел тропинку, начинавшуюся за классными комнатами семинарии и уводившую в те места, которые географы назвали бы центром Африки. Сам не зная зачем, он пошел по ней при свете луны и звезд; впереди слышалась какая-то музыка. Тропинка привела его в поселок и вывела дальше. В поселке не спали, может быть, потому, что было полнолуние. Если так, значит, лунные фазы отмечают здесь точнее, чем он в своем дневнике. Юноши били в старые консервные банки, подобранные в миссии, — банки из-под сардин, бобов и сливового джема; кто-то брэнчал на самодельной арфе. Из-за небольших костров на него смотрели черные лица. Какая-то старуха неуклюже приплясывала, вихляя бедрами, обтянутыми мешковиной, и опять наивное простодушие смеха кольнуло его. Они смеялись не над ним, смеялись между собой, а он, как и в общей комнате семинарии, был брошен один в том краю, где смех — все равно что непонятные звуки вражеского языка. Поселок был очень бедный: соломенные кровли глиняных хижин, давно изъеденные дождями и крысами, женщины в тряпье вокруг бедер, служившем в свое время тарой для сахара или зерна. В поселке жили пигмиды — гибридные потомки настоящих пигмеев. Враг этот был не из самых сильных. Он повернулся и зашагал назад к семинарии.

В комнате никого не было, партия в карты уже расстроилась, и пассажир пошел в отведенную ему спальню. Он успел так привыкнуть к своей маленькой каюте, что почувствовал себя беззащитным в этом огромном пространстве, где только всего и было что умывальник, на нем кувшин, таз и стакан, да еще стул, узкая койка под сеткой от москитов и бутылка кипяченой воды на полу. В дверь постучали, вошел один из миссионеров, по-видимому, отец настоятель. Он сказал:

— Может быть, вам нужно что-нибудь еще?

— Нет. Мне ничего не нужно. — Он чуть было не добавил: «В том-то все и горе».

Настоятель заглянул в кувшин — полно ли налито.

— Вода у нас бурого цвета, — сказал он, — но чистая.

Он приподнял крышку мыльницы, проверяя, не забыли ли положить мыло. В мыльнице лежал нетронутый ярко-оранжевый кусок.

— «Лайфбой», — с гордостью сказал настоятель.

— Я не мылся этим мылом, — сказал пассажир, — с самого детства.

— Многие считают, что оно хорошо от потницы. Но я этим не страдаю.

И вдруг пассажир почувствовал, что не может больше, что ему надо заговорить. Он сказал:

— Я тоже. Я ни от чего не страдаю. Я забыл, что такое страдание. Тут я тоже истратил себя до конца.

— Тоже?

— Как и во всем остальном. До конца.

Настоятель отвернулся от него, не проявив никакого интереса к разговору. Он сказал:

— Ну, знаете, приспеет время, и страдания вам будут ниспосланы. Спокойной ночи. В пять я вас разбужу.

Глава вторая

1

Доктор Колэн просмотрел анализы пациента — вот уже полгода мазки, взятые у него с кожи на лепрозные бактерии, давали отрицательный результат. У африканца, который стоял перед ним с костылем под мышкой, не было пальцев ни на руках, ни на ногах. Доктор Колэн сказал:

— Ну что ж, прекрасно. Ты здоров.

Африканец шагнул ближе к докторскому столу. Его беспальные ноги были как палки, и, переступая ими, он будто утрамбовывал землю. Он спросил с тревогой:

— Мне уходить отсюда?

Доктор Колэн посмотрел на культю, которую пациент протянул вперед, точно кое-как обструганную чурку, — отдаленное подобие человеческой руки. По существующим правилам в лепрозории содержались только заразные больные, излечившихся отсылали обратно по домам, а если это было возможно и нужно, пользовали как амбулаторных пациентов в главном городе провинции — Люке. Но до Люка надо было добираться много дней по дороге или по реке. Колэн сказал:

— Тебе, пожалуй, трудно будет найти работу на воле. Я подумаю. Что-нибудь сообразим. Пойди поговори с монахинями.

Казалось бы, куда годится такая культя? Но изуродованную руку можно столькому научить, что даже трудно себе представить. В лепрозории был больной без единого пальца, и он вязал на спицах не хуже монахинь. Но здесь и достижения вызывали чувство грусти, потому что они только подчеркивали ценность материала, большей частью пропадающего втуне. Вот уже пятнадцать лет доктор мечтал о том дне, когда у него будут средства на то, чтобы сконструировать специальные рабочие инструменты для каждого отдельного случая мутиляции, а пока у лепрозории не хватало денег даже на покупку хоть сколько-нибудь приличных матрацев для стационара.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Део Грациас ^[8].

Доктор раздраженно выкликнул следующего. Вошла молодая женщина со скрюченными пальцами — «обезьяньей лапой». Доктор попробовал разогнуть ей фаланги, и она сморщилась от боли, но улыбаться не перестала, вероятно, в расчете на то, что, увидев эту кокетливо-храбрую улыбку, доктор перестанет ее мучить. Губы у женщины были подкрашены розовато-лиловой помадой, некрасиво выделявшейся на черной коже, правая грудь обнажена, потому что, дожидаясь своей очереди на ступеньках больницы, она кормила ребенка. На одной руке, от локтя до кисти, у нее тянулся шрам, оставшийся после рассечения, которое ей сделали, чтобы освободить локтевой нерв. Теперь при усилии она могла чуть свободнее двигать пальцами. Доктор написал на ее карточке для сведения монахинь: «Парафиновая повязка», — и занялся следующим пациентом.

За пятнадцать лет работы доктор Колэн помнил только два дня, более жарких, чем сегодняшний. Жару чувствовали даже африканцы, больных на прием пришло вдвое меньше обычного. Вентилятора в больнице не было, и доктор Колэн принимал на веранде под самодельным тентом. Стол, жесткий деревянный стул, а за спиной маленький врачебный кабинет, куда и заходить было страшно из-за духоты. В кабинете стояла картотека, и железные скобки выдвижных ящиков обжигали пальцы.

Больной за больным обнажал перед ним свое тело; за все эти годы он так и не смог привыкнуть к сладковатому гангренозному запаху некоторых лепрозных тканей, и ему казалось, что это запах самой Африки. Он проводил пальцами по уплотненным участкам кожи и почти машинально делал записи на карточках. От записей толку было мало, но прикосновение его рук успокаивало больных, и он знал это; они чувствовали, что к ним не страшно прикоснуться. Способ лечения лепры был теперь найден, но психологическая сторона болезни по-прежнему оставалась нерешенной задачей, и доктор никогда не забывал этого.

С реки донесся звон судового колокола. Мимо больницы по дороге к речной отмели проехал на велосипеде настоятель. Он помахал доктору, и доктор поднял руку в ответ. Вероятно, пришел пароход ОТРАКО, сильно запоздавший. Два раза в месяц с ним доставляли почту, но полагаться на него было трудно, потому что он вечно задерживался из-за непредусмотренных погрязок или какой-нибудь неисправности в двигателе.

Послышался детский плач, и сразу же все дети в больнице подхватили его.

— Анри! — позвал доктор Колэн. Его помощник, молодой африканец, крикнул на своем языке: «Детей к груди!» — и мир воцарился немедленно. В половине первого доктор закончил прием. Он протер руки спиртом в своем маленьком душном кабинете.

Доктор пошел к реке. Ему должны были прислать книгу из Европы — японский медицинский атлас по лепре. Может быть, как раз с этой почтой и придет. Длинная улица поселка, где жили прокаженные, выходила к реке: двухкомнатные кирпичные домики, позади каждого в глубине двора — глиняная хижина. Когда он приехал сюда пятнадцать лет назад, в поселке только и было что эти глиняные хижины. Теперь их использовали как кухни, но перед смертью прокаженные все же скрывались в глубь двора. Они не могли умирать спокойно в комнате с радиоприемником и портретом последнего папы. Умирать нужно только там, где умирали твои предки: в темноте, среди запаха сухой глины и листьев. В третьем дворике налево, сидя в тени кухонной двери на покосившемся шезлонге, доживал свои последние дни старик.

При выходе из поселка, где реки еще не было видно, расчищали площадку для будущего нового корпуса больницы. Партия прокаженных утрамбовывала последние квадратные ярды грунта под присмотром отца Жозефа, который сам работал рядом с ними в старых штанах цвета хаки и в мягкой шляпе, такой бесформенной, точно ее много лет назад выкинуло волной на берег.

— ОТРАКО? — крикнул ему доктор Колэн.

— Нет, епископская баржа, — ответил отец Жозеф и прошелся по площадке, притоптывая землю ногами. Он уже давно перенял здешнее обыкновение разговаривать на ходу, спиной к собеседнику, и в речи у него тоже слышались африканские интонации. — Говорят, там пассажир.

— Пассажир?

В длинном прогале между двумя штабелями дров, заготовленных на топливо, доктор Колэн увидел торчавшую вдаль трубу самоходной баржи. По прогалу навстречу ему шел человек. Незнакомец приподнял шляпу — пожалуй, ровесник, под шестьдесят, утренняя седоватая щетина на щеках, помятый костюм из тропической ткани.

— Моя фамилия Куэрри, — представился незнакомец, но уловить, какое у него произношение — французское или фламандское, Колэну было так же трудно, как и определить сразу национальную принадлежность этой фамилии.

— Доктор Колэн, — сказал он. — Вы к нам?

— Баржа дальше не идет, — ответил приезжий, как будто другого объяснения и не требовалось.

2

Раз в месяц доктор Колэн и отец настоятель сходились на тайное совещание и вдвоем корпели над цифрами. Лепрозорий содержался на средства Ордена, врача и медикаменты оплачивало государство. Второй партнер был побогаче и поприжимистее, и доктор делал все, от него зависящее, чтобы переложить хоть часть финансовых тягот с плеч Ордена на плечи государства. В борьбе с общим врагом эти двое крепко подружились — было известно, что доктор Колэн даже ходит кое-когда к мессе, хотя он давным-давно, еще до переезда на этот многострадальный знойный континент, утерял веру в любого из тех богов, что пользуются признанием священнослужителей. Единственное, чем досаждал ему настоятель, — это сигарой, с которой он расставался только на время службы в церкви да во сне. Сигары были крепчайшие, кабинет у доктора — тесный, его книги и деловые бумаги были вечно пересыпаны пеплом. Сейчас ему пришлось стряхивать пепел с отчетов, приготовленных для старшего медицинского инспектора в Люке. В этих отчетах он ухитрился ловко и незаметно отнести за счет государства стоимость новых настенных часов и трех сеток от москитов, купленных миссией.

— Виноват, — сказал настоятель и засыпал пеплом страницу нового атласа по лепре. Густые сочные краски и завихрения на рисунках напоминали репродукции ваноговских пейзажей^[9], и перед приходом настоятеля доктор листал атлас, получая от этого чисто эстетическое наслаждение. — Я становлюсь просто невыносимым, — сказал настоятель, смахивая пепел со страницы. — А сегодня особенно. Правда, у меня был в гостях мистер Рикэр. Одно расстройство от этого человека.

— Что ему понадобилось?

— Приехал разузнать о нашем госте. И само собой, с посягательствами на его запасы виски.

— Неужели ради этого стоило добираться сюда целых три дня?

— Не знаю. Во всяком случае, до виски ему удалось добраться. Уверяет, что дорога целый месяц была совершенно непроезжая, и он истомился без интеллектуальных бесед.

— Как там его жена... и плантация?

— Рикэр только выпрашивает, а сам никогда ничего не расскажет. Кроме того, ему не терпелось обсудить свои духовные проблемы.

— Вот не думал, что они у него есть!

— Когда человеку нечем похвастаться, — сказал настоятель, — он выставляет напоказ свои духовные проблемы. После второго стакана Рикэр заговорил о божественной благодати.

— Ну, а вы что?

— Я снабдил его одной книжкой. Читать ее он, конечно, не будет. Ответы на все вопросы известны ему заранее — шесть лет, убитых на обучение в семинарии, могут принести огромный вред человеку. На самом деле он, конечно, жаждал разузнать, кто такой Куэрри, откуда приехал и сколько собирается здесь прожить. Я бы, конечно, не утерпел и все ему рассказал, да сам ничего не знаю. К счастью, Рикэр боится прокаженных, а тут как раз в комнату вошел слуга Куэрри. Почему вы дали Куэрри Део Грациаса?

— Он практически здоров, но ценой потери фаланг кистей и стоп, и мне не хотелось отсылать его. Подметать пол и стелить постель может и беспальный.

— Некоторые наши гости страдают мнительностью.

— Нет, Куэрри не такой, уверяю вас. Да он, собственно, сам его попросил у меня. Део Грациас был первый прокаженный, который встретился ему на берегу. Я, конечно, подтвердил, что он практически здоров.

— Део Грациас пришел ко мне с запиской. По-моему, Рикэру было неприятно, что я взял ее. Во всяком случае, когда он прощался, то руки мне не подал. Странное представление у некоторых людей о лепре, доктор!

— Оно почерпнуто из Библии. Так же, как и все то, что касается вопросов пола.

— Очень жаль, что люди запоминают из Библии именно это, — сказал настоятель, пытаясь стряхнуть сигарный пепел в пепельницу. Но ему, видимо, не суждено было попадать в намеченную цель.

— Что вы скажете о Куэрри, отец? Как по-вашему, зачем он сюда приехал?

— Мне некогда докапываться до мотивов человеческих поступков. Я предоставил ему комнату, постель. Прокормить лишний рот не так уж трудно. И надо отдать ему справедливость, он выразил готовность помогать нам — если окажется хоть на что-нибудь способен. Может быть, его привело сюда просто желание отдохнуть в тиши?

— Лепрозорий в качестве курорта? Это мало кого прельстит. Когда он попросил меня приставить к нему Део Грациаса, я на минуту испугался, не связались ли мы с лепрофилом?

— С лепрофилом? А я, по-вашему, лепрофил?

— Нет, отец. Вы здесь на послушании. Но вам хорошо известно, что лепрофилы существуют,

хотя их, пожалуй, больше среди женщин, чем среди мужчин. Швейцер^[10] обладает для них притягательной силой. Лепрофилы — как та женщина в Евангелии, им приятнее вымыть прокаженному ноги собственными волосами, чем использовать для этой цели более антисептические средства. Мне иной раз думается, а может, Дамьен^[11] был лепрофилом? Для того чтобы служить прокаженным, ему вовсе не требовалось заболеть самому. Существуют элементарные меры предосторожности. Разве я стал бы лучше лечить, если бы лишился пальцев на руках?

— Вникать в мотивы человеческих поступков — занятие неблагодарное. Куэрри никому здесь не мешает.

— Я повел его в больницу на второй же день. Мне хотелось посмотреть, как он будет себя вести. Реакция была вполне нормальная — не влечение, а тошнота. Пришлось дать ему понюхать эфира.

— Вы относитесь к лепрофилам недоверчиво, доктор, а я — нет. Для некоторых людей, например, есть что-то притягательное в бедности. Разве это плохо? Неужели надо придумывать для них словечко, оканчивающееся на «фил»?

— Как правило, лепрофилы не годятся для ухода за больными, и кончают они тем, что сами заболевают.

— Но, доктор, вы же считаете лепру психологической проблемой. Прокаженному может пойти на пользу, если к нему отнесутся с любовью.

— Прокаженный прекрасно разбирается, кого любят — его самого или только его проказу. А я не хочу, чтобы проказу любили. Я хочу, чтобы с ней покончили. В мире пятнадцать миллионов прокаженных. Стоит ли попусту тратить время на невропатов, отец?

— Пустая трата времени вам бы не повредила. Вы слишком много работаете.

Но доктор Колэн не слушал его. Он говорил:

— Помните тот маленький лепрозорий в джунглях, которым ведали монахини? Когда с открытием ДДС проказу стали лечить, количество больных там сократилось до пяти-шести человек. И знаете, что мне сказала одна монахиня? «Это ужасно, доктор! Скоро у нас прокаженных совсем не останется!» Вот вам типичная лепрофилка.

— Бедная женщина! — сказал настоятель. — Вы упускаете из виду другую сторону.

— Какую другую сторону?

— Старая дева, воображения ни малейшего, стремится делать добро, приносить пользу. В мире не так уж много мест для ей подобных. И вот еженедельная доза таблеток ДДС лишает бедняжку ее призвания.

— А мне казалось, что вы не любите вникать в мотивы человеческих поступков.

— Да ведь я не вникаю, а так — пальцами по поверхности, вроде вас, доктор, когда вы ставите диагноз. Нам всем легче бы жилось, если бы мы были еще поверхностнее в своих суждениях. Они никому не вредят, но если я начну докапываться, что же лежит в основе желания приносить пользу, тогда... тогда могут обнаружиться ужасные вещи. Достигнув этой точки, все

мы предпочитаем остановиться, а если пойти дальше? Вполне вероятно, что все эти ужасы таятся только под верхними слоями кожи. Словом, поверхностные суждения безопаснее. От них всегда можно отмахнуться. Это доступно даже тем, кого мы судим.

— Ну, а Куэрри? Каково ваше суждение о нем — разумеется, поверхностное?

Часть II

Глава первая

1

На незнакомом месте новоселу надо сразу же создать привычную, знакомую обстановку — для этого годится и фотография и стопка книг, если он ничего другого из прошлого не привез. У Куэрри не было ни одной фотографии, ни одной книги, если не считать дневника. В первый день, когда его разбудило в шесть утра пение молитв, доносившееся из часовни за стеной, он ужаснулся, почувствовав свою полную заброшенность. Он лежал на спине, прислушиваясь к молитвенным напевам, и если бы его перстень с печаткой обладал магической силой, он повернул бы его на пальце и попросил у представшего перед ним джинна, чтобы джинн помог ему перенестись обратно в то место, которое, за неимением более подходящего слова, именовалось его домом. Но магия, если она вообще существует, вероятнее всего, была в ритмическом и невнятном пении за стеной. Оно напомнило Куэрри, точно запах лекарства, болезнь, от которой он давным-давно излечился. Как же было не подумать, что зона лепры окажется зоной и той, другой болезни! Он ожидал увидеть в лепрозории врачей и сиделок и совсем упустил из виду, что здесь будут священники и монахи.

В дверь постучал Део Грациас. Куэрри услышал, как он тычет своей культей, пытаясь приподнять щеколду. На кисти у него, точно пальто на колышке, висело ведро с водой. Куэрри спросил доктора Колэна, прежде чем нанять Део Грациаса, бывают ли у него боли, но доктор успокоил его, ответив, что потеря пальцев на руках и ногах исключает боль. Только прокаженные с отеком кистей и ущемлением нервных стволов испытывают страдания — страдания почти невыносимые (иногда было слышно, как они кричат по ночам), но это в какой-то степени служит им защитой от мутиляции. Лежа на спине в постели и сгибающая и разгибающая пальцы, Куэрри не испытывал страданий.

И вот с первого же дня, с первого утра он стал подчинять свою жизнь рутине — отыскивая знакомое в пределах незнакомого. Только при этом условии и можно было выжить. Ежедневно в семь часов утра он завтракал вместе с миссионерами. Они сходились в общей комнате, успев поработать час, после того как умолкало пение молитв. Отец Поль и брат Филипп ведали динамо-машиной, которая подавала ток в миссию и поселок прокаженных; отец Жан приходил, отслужив мессу у монахинь; отец Жозеф успевал к этому времени наладить работу на участке, который расчищали под здание новой больницы; отец Тома, с глазами, похожими на камешки, вдавленные в серую глину его лица, выпивал кофе залпом, точно слабительное, и убегал в подведомственные ему школы. Брат Филипп сидел за столом молча, не участвуя в разговорах: он был старше отцов миссионеров, говорил только по-фламандски, а лоб у него был словно источен непогодой и долготерпением. По мере того как миссионеры обретали каждый свое лицо, точно на негативах в ванночке с проявителем, Куэрри все больше и больше избегал их общества. Он боялся, как бы они не начали расспрашивать его, но потом ему стало ясно, что здесь, как и в семинарии на реке, ни о чем таком допытываться не станут. Даже самые необходимые вопросы облекались у них в утвердительную форму: «Месса начинается в половине седьмого утра, если вы пожелаете присутствовать на воскресном богослужении», — и

Куэрри не нужно было отвечать, что он уже больше двадцати лет не ходит к мессе. Его отсутствия как бы не замечали.

После завтрака, прихватив книгу, взятую в маленькой библиотеке доктора, он шел к реке. В этом месте она разливалась широко, чуть ли не на милю от берега до берега. Старый, весь проржавевший баркас спасал его от муравьев, и он сидел в нем часов до девяти, пока не прогоняло высоко поднявшееся солнце. Иногда он читал, а то просто смотрел на ровный ток воды зеленовато-желтого цвета, на маленькие островки травы и водяных гиацинтов, которые нескончаемой вереницей, точно медленно ползущие такси, проплывали мимо, из самого сердца Африки к далекому океану.

На другом берегу, над зеленой стеной джунглей, вздымались огромные деревья с обнаженными корнями, похожими на шпангоуты недостроенного корабля, с бурыми, точно вялая цветная капуста, кронами. Холодные серые стволы без веток, извивающиеся то вправо, то влево, были похожи на живых змей. Белые, точно фарфоровые, птицы стояли на спинах кофейно-коричневых коров, а однажды он битый час наблюдал за семьей, которая сидела в пироге у самого берега и ровно ничего не делала. На матери было ярко-желтое платье, отец, морщинистый, как древесная кора, горбился над веслом, ни разу не шевельнув им, девушка держала на коленях ребенка и все улыбалась и улыбалась застывшей улыбкой, похожей на клавиатуру рояля. Наконец на солнцепеке становилось слишком жарко, он шел к доктору в больницу или в амбулаторию, и, когда Колэн заканчивал вместе с ним обход или прием, полдня, слава Богу, оставалось позади. Его уже не тошнило от того, что приходилось видеть здесь, и флакона с эфиром больше не требовалось. Через месяц он сказал доктору:

— На восемьсот больных персонала у вас не хватает.

— Да.

— Если я могу чем-нибудь помочь... правда, тут нужна подготовка, но...

— Вы же скоро уедете?

— У меня нет определенных планов.

— Вы имеете понятие о физиотерапии?

— Нет.

— Если вас это интересует, можно пройти специальный курс. Полугодичный. В Европе.

— Я не собираюсь возвращаться в Европу, — сказал Куэрри.

— Совсем?

— Совсем. Я боюсь туда возвращаться, — Эта фраза показалась ему самому мелодраматической, и он поправился: — То есть не боюсь, а так... есть причины.

Доктор провел пальцами по спине стоявшего перед ним ребенка. На взгляд человека неопытного ребенок был совершенно здоров.

— Тяжелый будет случай, — сказал доктор Колэн. — Потрогайте.

Мимолетное колебание Куэрри было так же трудно уловить, как и признаки лепры. Сначала

его пальцы ничего не нащупали, но потом они наткнулись на места, где кожа ребенка словно бы образовала лишний слой.

— А с электротехникой вы знакомы?

— Увы!

— Дело в том, что нам должны прислать аппарат из Европы. И что-то его все нет и нет. Этим аппаратом можно измерять температуру кожи одновременно на двадцати участках. Пальцами вы тут ничего не обнаружите, но вот это уплотнение теплее, чем кожа вокруг. Я надеюсь, что со временем мне удастся предупредить образование таких бугорков. В Индии этим уже занимаются.

— Вы слишком многого от меня требуете, — сказал Куэрри, — Я человек одного ремесла, мне дан всего один талант.

— Какое же это ремесло? — спросил доктор. — У нас здесь настоящий город, только в миниатюре, применение найдется почти для любого ремесла. — Он вдруг подозрительно покосился на Куэрри. — Вы, надеюсь, не писатель? Писателю здесь места нет. Нам нужна спокойная рабочая обстановка. Мы не желаем, чтобы мировая пресса открыла нас, как открыли Швейцера.

— Я не писатель.

— Может быть, фотограф? Наши больные не экспонаты для какого-нибудь музея, где пугают всякими ужасами.

— И не фотограф. Поверьте, покой нужен мне не меньше, чем вам. Если б баржа пошла дальше, я бы здесь не остался.

— Тогда скажите, какое у вас ремесло, и мы вас куда-нибудь пристроим.

— Я бросил его, — ответил Куэрри.

Мимо окна с деловым видом проехала на велосипеде монахиня.

— Неужели у вас не найдется для меня какой-нибудь нехитрой работы, чтобы я не даром ел ваш хлеб? — спросил Куэрри. — перевязки? Этому я тоже не обучен, но научиться, наверно, не трудно. И уж во всяком случае надо же кому-то стирать бинты? Я мог бы заменить более ценного работника.

— Этим ведают монахини. Если бы я вмешивался в их дела, мне бы здесь жизни не было. Что с вами — места себе не находите? Может быть, вам уехать в Люк со следующей баржей? Там много всяких возможностей.

— Я обратно не поеду, — сказал Куэрри.

— В таком случае советую вам предупредить об этом наших отцов миссионеров, — ироническим тоном сказал доктор и крикнул своему помощнику: — На сегодня хватит. Заканчиваем.

Моя руки спиртом, он посмотрел через плечо на Куэрри. Его помощник выводил больных из кабинета, и они остались одни. Доктор спросил:

— Вас разыскивает полиция? Не бойтесь — можете признаться хоть мне, хоть любому из нас. В лепрозории на этот счет так же безопасно, как в иностранном легионе,

— Нет. Никаких преступлений я не совершил. Уверяю вас, мой случай не представляет никакого интереса. Я ушел от дел, только и всего. Если миссионеры не захотят держать меня здесь, я всегда могу двинуться дальше.

— Вы же сами сказали — дальше баржа не идет.

— Есть еще дорога.

— Да. Но она ведет только в одном направлении. В том, откуда вы приехали. Впрочем, дорога эта большей частью непроезжая. Сейчас период дождей.

— Ноги-то всегда при мне, — сказал Куэрри.

Колэн взглянул на него, ожидая увидеть улыбку, но улыбки на лице Куэрри не было. Колэн сказал:

— Если вы действительно хотите помочь мне и не побоитесь весьма нелегкого путешествия, возьмите наш второй грузовик и съездите в Люк. Баржа бог ее знает когда появится, а мой новый аппарат, вероятно, уже пришел в город. Поездка займет у вас дней восемь в оба конца, если вам повезет. Ну как, поедете? Имейте в виду: ночевать придется в джунглях, а если паромы не работают, повернете с полпути обратно. Дорога — это чересчур громко сказано, — продолжал Колэн. Ему не хотелось давать настоятелю повод обвинить его в том, будто он уговорил Куэрри поехать. — Но раз у вас есть желание помочь... Вы сами видите, из нас ехать некому. Нам нельзя отлучаться.

— Да, да, конечно. Я сегодня же и выеду.

Доктор вдруг подумал, что этот человек, вероятно, тоже на послушании, но послушествует он не духовным и не мирским властям, а тому, что преподнесет судьба. Он сказал:

— Прихватите заодно из города замороженных овощей и мяса. Мы здесь не прочь внести разнообразие в наш рацион. В Люке есть склад-холодильник. Пришлите ко мне Део Грациаса за раскладной койкой. Если возьмете с собой велосипед, то на первую ночевку сможете остановиться у Перрэнов. На грузовике до них не доберетесь, они живут у реки. Есть еще Шантэны — но это дальше часов на восемь. Впрочем, может быть, они уехали на родину, я что-то не помню. Ну-с, и у второго парома к вашим услугам Рикэр. Это часов за шесть до Люка. Не сомневаюсь, что он окажет вам горячий прием.

— Нет, лучше буду ночевать в грузовике, — сказал Куэрри. — Я человек необщительный.

— Предупреждаю — поездка трудная. И можно дожидаться баржи.

Он помолчал, ожидая ответа, но Куэрри только и мог сказать:

— Я буду рад принести хоть какую-то пользу.

Взаимное недоверие убивало всякую возможность общения между ними. Доктору казалось, что единственные слова, которые он может произнести с ручательством за их уместность, долгое время пролежали в банках в амбулатории и сильно отдают формалином.

Река образовывала большую излучину в джунглях, и не одно поколение здешних правителей терпело неудачу в борьбе с лесной чащей и дождями, пытаясь проложить дорогу через этот мыс от административного центра провинции — города Люка. В периоды дождей повсюду были непролазные топи, притоки так вздувались, что паромы бездействовали, а лесная чаща роняла поперек дороги деревья, на больших расстояниях одно от другого, точно чередуя геологические слои. В глубине зарослей деревья век от века незаметно дряхлели и наконец умирали, падая в предсмертной агонии на жилистые руки лиан, и рано или поздно лианы бережно опускали эти трупы на то пространство, которое одно могло принять их, — на дорогу, узкую, как гроб или могила. Катафалков здесь не было, и убрать отсюда покойников мог только огонь.

В периоды дождей дорогой никто не пользовался; несколько семей колонистов, живущих в джунглях, оказывались тогда совершенно отрезанными от мира, и выручал их только велосипед. На велосипеде можно было добраться до берега реки и, поселившись в рыбацком поселке, ждать прибытия парохода или баржи. Потом, когда дожди кончались, проходила еще не одна неделя, прежде чем местные власти могли выделить рабочую силу — жечь костры, чтобы расчистить завалы. Если запустить дорогу, через несколько лет она вовсе исчезнет, и уже навсегда. От нее останутся лишь неглубокие царапины и борозды на земле, похожие на настенные письма первобытного человека, и тогда в этих местах будут жить только пресмыкающиеся, насекомые, два-три вида птиц, приматы и, может быть, пигмиды — единственные человеческие существа в джунглях, которые способны существовать без дороги.

В первую ночь Куэрри остановил грузовик в том месте, где начиналась тропинка, ведущая к плантации Перрэнов. Он открыл банку консервированного супа и банку сосисок, а Део Грациас тем временем поставил ему раскладную койку в кузове и зажег керосинку. Куэрри хотел поделиться с ним, но у Део Грациаса была какая-то своя еда в горшке, завернутом в старую тряпку, и они молча сидели по обе стороны машины, точно каждый в своей комнате. Поев, Куэрри обошел грузовик, с тем чтобы переброситься двумя-тремя словами с Део Грациасом, но бой почтительно поднялся с земли, точно хозяин явился к нему в хижину в поселке, и это сразу убило в Куэрри всякое желание говорить. Если б его слугу звали попросту Пьер, Жан или Марк — тогда можно было бы начать с какой-нибудь несложной фразы по-французски, но Део Грациас... это нелепое имя застряло у Куэрри в горле.

Он отошел от машины, зная, что все равно не заснет, и зашагал по тропинке, которая в конце концов должна была привести или к реке, или на плантацию Перрэнов. Сзади слышалось глухое притоptyвание Део Грациаса. Бой шел за ним, то ли решив охранять его, то ли побоявшись остаться в темноте около грузовика. Куэрри раздраженно обернулся, потому что ему хотелось побыть одному, — Део Грациас стоял на своих кургузых беспалых ступнях, подпираясь костылем, точно тотем ^[12], поставленный здесь сотни лет назад и принимающий жертвоприношения в положенный для этого день.

— Эта тропинка к Перрэнам?

Део Грациас ответил утвердительно, но Куэрри понял, что это обычная для африканцев манера отвечать, когда вопрос задают в такой форме. Он вернулся к грузовику и лег на койку. Он слышал, как Део Грациас устраивается на ночь под кузовом, и, лежа на спине, глядел туда, где должны были виднеться звезды, если б не сетка от москитов. Как и всегда, тишины вокруг не было. Тишина — принадлежность городов. Ему приснилась девушка, которую он знал когда-то и как будто любил. Она подошла к нему вся в слезах, жалуясь, что разбила дорожную вазу, и

рассердилась, так как он не стал сокрушаться вместе с ней. Она ударила его по лицу, но ему показалось, будто его мазнули маслом по щеке. Он сказал: «Прости. Это зашло слишком далеко. Я ничего не чувствую. У меня проказа». И, назвав ей свою болезнь, он проснулся.

Вот так он проводил дни и ночи. Все шло гладко, и его тяготило только однообразие джунглей. Паромы работали исправно: реки не вышли из берегов, несмотря на ливень, обрушившийся на их последнюю ночную стоянку. Део Грациас соорудил ему в кузове брезентовый навес, а сам, как всегда, лег под брюхо грузовика. Потом снова показалось солнце, и они выехали из джунглей на дорогу, по которой до Люка оставалось всего несколько миль.

3

Аппарат доктора пришлось разыскивать долго, прежде чем его следы обнаружили. В отделе грузов ОТРАКО о нем ничего не знали и направили Куэрри в таможенную, которая оказалась всего-навсего деревянным домишком у маленькой речной пристани, где лопухие собаки встретили его лаем и тут же разбежались. В таможене к его приходу отнеслись с полным равнодушием и ничем не помогли, так что ему пришлось отправиться на поиски европейца-инспектора, а тот в эти часы наслаждался послеполуденной сиестой в одном из розовых и голубых домов нового типа рядом с маленьким городским садом, на раскаленные цементные скамейки которого никто не садился. Дверь ему отворила растрепанная, заспанная африканка, видимо, отдохавшая вместе с инспектором. Сам инспектор оказался пожилым фламандцем, едва говорившим по-французски. Мешки у него под глазами были как кошелечки, в которых таились контрабандные воспоминания неудачника. Куэрри успел так привыкнуть к жизни в джунглях, что не мог признать в этом человеке своего современника, существо одной с ним расы. Рекламный календарь на стене с цветной репродукцией картины Вермеера ^[13], трехстворчатая рамка на закрытом рояле с фотографиями жены и детей, портрет его самого в допотопном офицерском мундире времен какой-то допотопной войны — все это было словно остатки исчезнувшей цивилизации. Точная датировка их не представляла труда, но никакие изыскания не обнаружили бы чувств, когда-то связанных с ними.

Инспектор держался очень вежливо, но был явно смущен: ему, видимо, хотелось прикрыть гостеприимством кое-какие тайны своей сиесты. Брюки у него были не застегнуты. Он предложил Куэрри сесть и выпить виски, но, услышав, что его гость приехал из лепрозория, забеспокоился, испугался и все поглядывал на кресло, в котором Куэрри сидел. Он, вероятно, ожидал, что бациллы лепры вот-вот начнут буравить обивку. Нет, про аппарат ему ничего не известно, Куэрри надо справиться в соборе, не туда ли его завезли. Выйдя на лестничную площадку, Куэрри услышал, как в ванной комнате за дверью полилась вода. Инспектор, видимо, дезинфицировал руки.

Аппарат действительно доставили в собор, хотя священник, с которым Куэрри пришлось иметь дело, сначала отрицал это, полагая, что в ящиках упакована статуя какого-нибудь святого или книги для миссионерской библиотеки. Груз этот был отправлен с последним пароходом ОТРАКО и, вероятно, застрял где-то в пути. Куэрри поехал в холодильник. Дневной отдых в городе кончился, и ему пришлось стоять в очереди за стручковой фасолью.

Вокруг него, наперебой требуя к себе внимания, раздавались раздраженные голоса colons, негодовавших по разным поводам. Ему вдруг показалось, что это Европа, и он невольно вобрал голову в плечи, боясь, как бы его не узнали. Стоя в набитой людьми лавке, он понял, что на реке и в поселке при лепрозории все-таки был хоть какой-то покой.

— Нет, картофель у вас есть! — говорил женский голос. — Как вы смеете отрицать это! Его доставили со вчерашним самолетом Я же знаю, мне летчик сказал. — И, пуская в игру

последнюю карту, она заявила хозяину лавки — европейцу: — Я жду губернатора к обеду.

Картофель ей сунули тайком, уже упакованный в целлофан.

Чей-то голос спросил:

— Если не ошибаюсь, вы Куэрри?

Он оглянулся. Человек, заговоривший с ним, был сутулый, высокий, чрезмерно высокий. Он напоминал растение, которое держат в ванной комнате и оно тянется вверх от сырости. Маленькие черные усики — точно размазанная под носом копоть из заводских труб. Лицо плоское, узкое — без конца, без начала, как чертеж к закону о непересекающихся параллельных прямых. Горячей беспокойной рукой он взял Куэрри за локоть.

— Моя фамилия Рикэр. Я был недавно в лепрозории, но вас не застал. Как вы сюда добрались? Разве пришла баржа?

— Я приехал на грузовике.

— И не застряли? Ну, вам повезло. На обратном пути прошу заночевать у меня.

— Я тороплюсь обратно, в лепрозорий.

— Там и без вас обойдутся, мосье Куэрри. Ничего с ними не делается. После вчерашнего ливня паромы, вероятно, не ходят. А чего вы здесь ждете?

— Да я хотел купить haricots verts ^[14] и...

— Бой! Отпустить haricots verts этому хозяину. На них надо покрикивать. Другого обращения они не понимают. Так вот, выбирайте: или вы ночуете у нас, или остаетесь здесь, в городе, пока вода не спадет, но здешняя гостиница вам не понравится, это я ручаюсь. Люк — городишко провинциальный. Для такого человека, как вы, здесь ничего интересного нет. Ведь вы *наш знаменитый* Куэрри, правда? — И Рикэр сжал губы, будто захлопнул ловушку, а глаза у него хитро заблестели, как у сыщика.

— Я вас не понимаю.

— Вы не думайте, что мы здесь все не от мира сего, как отцы миссионеры и наш дорогой доктор — личность весьма сомнительная. У нас пустыня? Да, есть немножко, но все же ухитряешься не терять связи с миром. Бой! Две дюжины пива, да поскорее! Ваше инкогнито я, безусловно, уважаю и никому не скажу ни слова. Положитесь на меня, гостя я не предаю. У нас вы будете не так на виду, как в гостинице. Я и жена, больше никого. Собственно говоря, жена мне и подсказала: «Как ты думаешь, а не тот ли это знаменитый Куэрри?»

— Вы ошибаетесь.

— Э-э, нет! Когда вы к нам приедете, я покажу вам одну фотографию из журнала. У нас этих газет и журналов много валяется, мало ли что, а вдруг пригодятся. Вот и пригодились, а? Не будь того номера, мы бы решили, что вы какой-нибудь родственник Куэрри или просто однофамилец. Подумать только! *Наш знаменитый* Куэрри — и вдруг прячется в лепрозории в джунглях! По совести говоря, я человек любопытный. Но вы верьте мне, верьте до конца. Меня самого одолевают всякие проблемы, и я не могу не посочувствовать другому человеку. Я тоже похоронил себя в глуши. Давайте выйдем отсюда, в маленьких городишках и у стен есть уши.

— Знаете, я... меня ждут в лепрозории.

— Погода подвластна Господу. Поверьте мне, мосье Куэрри, выбора у вас нет.

Глава вторая

Дом и завод стояли у самой переправы; лучшего местоположения нельзя было и выбрать, учитывая ненасытное любопытство Рикэра. Никто не мог проехать по дороге из города в глубь страны, минуя два широких окна его дома, словно линзы бинокля направленные на реку. Они ехали к реке под густо-синей тенью пальм; шофер Рикэра и Део Грациас следовали за ними в грузовике Куэрри.

— Видите, мосье Куэрри, что делается? Какая высокая вода! Сегодня на тот берег не переберешься. А может, и завтра, кто знает? Так что у нас с вами будет время побеседовать на разные интересные темы.

Когда они ехали по заводскому двору, среди выброшенных за ненадобностью ржавеющих котлов, их окутало тяжелым запахом прогорклого маргарина. Из открытых настежь заводских дверей повеяло горячим ветром, и на миг в сумерки вымахнул отсвет котельной топки.

— Вам, привыкшему к заводам западного мира, — сказал Рикэр, — все это, конечно, покажется довольно убогим. Хотя я не помню, имели вы когда-нибудь касательство к заводам?

— Нет.

— *Наш знаменитый* Куэрри — ведущая фигура во многих областях.

Он вставлял «наш знаменитый» чуть не через слово, точно это был титул.

— Работает мой заводик, — говорил Рикэр, пока машина, подскакивая, виляла между котлами. — Хоть и неказистый, а работает. У нас тут все идет в дело. От ореха ничего не остается. Ровным счетом ничего. Сначала целиком под пр-ресс, — сказал он, со вкусом напирая на букву «р», — выжимаем масло, а скорлупу потом прямо в топку. Наши котлы другого топлива и не знают.

Они оставили обе машины во дворе и пошли к дому.

— Мари! Мари! — крикнул Рикэр и, счистив о скобу грязь с башмаков, затопал по веранде. — Мари!

Девушка в синих джинсах, с хорошеньким, но словно бы еще не сформировавшимся лицом, быстро вышла из-за угла на его зов. Куэрри чуть было не спросил: «Ваша дочь?» — но Рикэр опередил его.

— Моя жена, — сказал он. — Вот, дорогая, *наш знаменитый* Куэрри. Он пытался отрицать это, но я сразу ему заявил, что у нас есть его фотография.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она. — Мы все к вашим услугам.

У Куэрри создалось впечатление, что этим стандартным фразам ее когда-то обучила гувернантка или же они почерпнуты из руководства по этикету. Когда все, что требовалось, было сказано, она исчезла так же внезапно, как и появилась. Может быть, прозвенел звонок к

следующему уроку?

— Прошу садиться, — сказал Рикэр. — Сейчас Мари принесет виски. Она у меня вышколенная — усвоила наши мужские привычки.

— И давно вы женаты?

— Два года. Я привез ее с собой, когда вернулся последний раз из отпуска. В таком месте, на такой работе близкий человек необходим. А вы женаты?

— Да... то есть был женат.

— Я, конечно, понимаю, что, на ваш взгляд, она слишком молода для меня. Но надо смотреть вперед. Если уж верить в святость брака, то не мешает думать о будущем. У меня впереди лет двадцать... так сказать, деятельной жизни, а во что превратится через двадцать лет тридцатилетняя женщина? В тропиках мужчина сохраняется лучше. Вы согласны со мной?

— Мне как-то не приходилось над этим задумываться. И я еще мало знаю тропики.

— Но вопросы пола — это не самое главное. Смею вас уверить, проблем и без них хватает. Апостол Павел писал — помните? — лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Мари еще долго будет сохранять молодость и спасет меня от печи огненной. — Он поспешил добавить: — Я, конечно, шучу. О серьезных вещах следует говорить шутливо. Не так ли? На самом же деле я всем сердцем верую в любовь. — Это прозвучало так, будто он признался, что верит в добрых волшебниц.

На веранде появился слуга с подносом, мадам Рикэр шла следом за ним. Куэрри взял стакан, и она стала справа от него, а слуга нацелился в стакан сифоном. У каждого свои обязанности.

— Вы скажете, когда довольно? — спросила мадам Рикэр.

— А теперь, *cherie*, ^[15] пойдешь оденешься как следует, — сказал Рикэр.

За виски он снова начал о том, что именовалось у него «ваш случай». Теперь манерами и тоном он смахивал не столько на сыщика, сколько на адвоката, который по роду занятий становится *post factum* как бы сообщником своего подзащитного.

— Зачем вы сюда приехали, Куэрри?

— Надо же где-то жить.

— Да, но, как я уже говорил сегодня утром, никому бы и в голову не пришло, что вы работаете в лепрозории.

— Я не работаю там.

— Когда я туда приезжал несколько недель назад, миссионеры сказали мне, что вы ушли в больницу.

— Я присутствовал на приеме у доктора. Присутствую — вот и вся моя работа. Больше я там ни на что не гожусь.

— Но вы же губите свой талант!

— У меня нет никакого таланта.

Рикэр сказал:

— Не презирайте нас, бедных провинциалов.

Когда они сели обедать и Рикэр прочитал короткую молитву, хозяйка дома снова обратилась к гостю. Она сказала:

— Надеюсь, вам у нас понравится. — Потом: — Вы едите салат?

Пряди ее светлых волос местами потемнели от пота, и Куэрри заметил, что она испуганно раскрыла глаза, когда над столом пронеслась черно-белая бабочка с размахом крыльев не меньше, чем у летучей мыши.

— Будьте как дома, — сказала она, проводив глазами бабочку, которая, точно лишайник, распласталась на стене.

Куэрри подумал: а сама-то она чувствует себя здесь как дома?

Мадам Рикэр сказала:

— У нас мало кто бывает. — И ему тотчас представился ребенок, которому велено развлекать гостя до прихода матери. В промежутке между виски и обедом она успела переодеться в бумажное платье с узором из осенних листьев. Это в память о тебе, Европа.

— Кое-кто бывает, но не такие, как *наш знаменитый* Куэрри, — перебил ее Рикэр. Он будто повернул ручку приемника, решив, что хватит слушать передачу об умении вести себя в обществе. Звук был выключен, но робкий настороженный взгляд словно продолжал говорить фразу за фразой, хотя их никто не слышал: «У нас жарко, не правда ли? Вы из Европы? Хорошо перенесли самолет?»

Куэрри спросил:

— Вам здесь нравится?

Вопрос застал ее врасплох; должно быть, в разговорнике не было ответа на него.

— О да! Здесь очень интересно, — сказала она, глядя через его плечо во двор, где стояли котлы, похожие на современную скульптуру, потом снова перевела взгляд к бабочке на стене и ящерице гекко, нацелившейся на свою жертву.

— Принеси фотографию, дорогая, — сказал Рикэр.

— Какую?

— Фотографию *нашего знаменитого* Куэрри.

Она нехотя вышла из столовой, держась подальше от стены, где сидела бабочка и где на бабочку нацеливалась ящерица, и вскоре вернулась с номером «Тайма» бог знает какой давности. Куэрри вспомнил это лицо на журнальной обложке, лет на десять моложе теперешнего (выход номера совпал с его первым приездом в Нью-Йорк). Художник, делавший портрет с фотографии, романтизировал его внешность. Это было не то лицо, что он видел в зеркале во время бритья, а будто дальний родственник его лица. В нем отражались чувства,

мысли, надежды, душевные глубины, которыми он никогда ни с одним репортером не делился. На втором плане возвышалось здание из стекла и стали, его можно было принять за концертный зал, даже за оранжерею, если бы огромный крест, поставленный у входа, наподобие звонницы, не указывал на то, что это церковь.

— Вот, извольте видеть, — сказал Рикэр. — Нам все известно.

— Насколько я помню, статья здесь не блещет точностью фактического материала.

— Вы, вероятно, будете что-то строить у нас по поручению правительства или церкви?

— Нет. Я теперь в отставке.

— Казалось бы, такие, как вы, в отставку не уходят.

— Почему же? Рано или поздно всем приходится это делать — и мне, и солдату, и директору банка.

Как только обед кончился, жена Рикэра вышла из столовой, точно ребенок, которому велено уйти после десерта.

— Наверно, пошла делать записи в своем дневнике, — сказал Рикэр. — Сегодняшний день для нее из ряда вон — познакомилась с *нашим знаменитым* Куэрри. Есть о чем распространиться.

— И много она такого находит, что стоит записывать?

— Кто знает? Сначала я украдкой заглядывал в ее дневник, но она обнаружила это и теперь запирает его от меня на ключ. Я поддразнивал ее и, наверно, переборщил. Помню, одна запись была такая: «Письмо от мамы. У бедной Нитуш пятеро щенков». В тот день губернатор вручил мне орден, но об этой церемонии она не обмолвилась ни словом!

— Ей здесь, наверно, очень одиноко — в ее-то возрасте.

— Как сказать! Хозяйственные обязанности существуют даже в джунглях. Если уж на то пошло, так я гораздо больше страдаю от одиночества. Ее... вы, вероятно, сами это заметили... ее нельзя назвать интеллектуальной собеседницей. Это один из минусов брака с женщиной моложе тебя. Если я ощущаю потребность, побеседовать о вещах, которые меня кровно интересуют, приходится ехать к отцам миссионерам. По правде говоря, далековато. При моем образе жизни времени на размышления остается много. Я считаю себя добрым католиком, но это не значит, что у меня нет сложных духовных проблем. К религии многие относятся легко, а я провел в юности шесть лет у иезуитов. Если бы учитель, к которому мы поступили на послух, был менее пристрастен, мы бы с вами здесь не встретились. В этой статье в «Тайме» сказано, что вы тоже католик.

— Я в отставке, — второй раз сказал Куэрри.

— Бросьте, бросьте! От этого в отставку не уходят.

Притаившаяся гекко ринулась на бабочку, промахнулась и снова замерла, распялив по стене свои крохотные, похожие на папоротник лапки.

— Если хотите знать, — сказал Рикэр, — так эти миссионеры в лепрозории — народ малоинтересный. Они больше заняты своей динамо-машиной и строительством, чем вопросами

веры. А я как услышал о вашем приезде, так с тех пор все мечтаю поговорить с интеллигентным католиком.

— Я себя таковым не считаю.

— Все эти долгие годы я был предоставлен самому себе и своим мыслям. Некоторые люди довольствуются игрой в гольф в одиночку, а мне этого недостаточно. Меня очень интересует любовь. Я много читал по этому вопросу.

— Любовь?

— Любовь к Господу. Агапа^[16] — не Эрос.

— В этих делах я не сведущ.

— Вы умаляете свои достоинства, — сказал Рикэр.

Он подошел к буфету и принес оттуда поднос с ликерами, спугнув по пути гекко. Ящерица юркнула за дешевенькую репродукцию «Бегства в Египет».

— Стаканчик «куэнтро», — сказал Рикэр, — или вы предпочитаете «ван-дер-хум»?

Куэрри увидел у веранды худенькую фигурку в платье с золотыми листьями, которая шла к реке. Должно быть, на воздухе бабочки казались не такими уж страшными.

— В семинарии я взял за правило искать глубже, чем это принято, — говорил Рикэр. — Наша вера, когда постигаешь ее глубины, ставит перед нами много разных проблем. Возьмем хотя бы... впрочем, почему «хотя бы»? Я сейчас коснусь самой сути — того, что меня больше всего тревожит. По-моему, моя жена не уясняет себе истинной природы брака во Христе.

Из темноты донеслось «плюх-плюх-плюх». Она, вероятно, кидала камешки в реку.

— Мне подчас кажется, — говорил Рикэр, — что моя жена чуть ли не круглая невежда. Просто диву даешься — чему ее там учили, в монастыре? Вы же сами видели, она даже не перекрестится перед едой, когда я читаю молитву. А ведь согласно каноническому праву, невежество, переходящее известные границы, может даже лишить брак законной силы. Это один из вопросов, который я пытался обсудить с отцами миссионерами, но тщетно. Они предпочитают говорить о турбинах. Зато теперь, когда вы здесь...

— Я не берусь судить о таких вещах, — сказал Куэрри. В паузы до веранды доносилось журчанье воды, идущей в реку на убыль.

— Но вы по крайней мере слушаете. Миссионеры давно заговорили бы о новом колодце, который они собираются рыть. Колодец, Куэрри! Подумайте, колодец! А тут человеческая душа! — Он допил свой «ван-дер-хум» и налил вторую рюмку. — Они ничего не понимают. Представьте себе, что мы с ней живем не в законном браке, а так... да ей, Куэрри, ничего бы не стоило бросить меня в любую минуту!

— В том, что вы именуете законным браком, тоже так поступают, и с легкостью.

— Нет, нет! Тогда гораздо труднее. Общественное мнение — вещь реальная, особенно здесь.

— Если она любит вас...

— Это ничего не решает. Мы с вами знаем жизнь, Куэрри. Такая любовь не долговечна. Я пытался внушить ей всю важность любви к Господу. Ведь если она будет любить его, ей не захочется наносить ему оскорбление, не правда ли? А это уже до некоторой степени гарантия. Я заставлял ее молиться, но кроме «Отче наш» и «Аве Мария» она, кажется, не знает ни одной молитвы. А вы как молитесь, Куэрри?

— Никак. Разве только в минуту опасности, по привычке. — Он добавил грустно: — Тогда я молюсь, чтобы мне подарили плюшевого мишку.

— Вы все шутите, а ведь это очень серьезно. Еще рюмочку «куэнтро»?

— Что вас, собственно, тревожит, Рикэр? Соперник?

Его жена вошла в световой круг под лампой, висящей на углу веранды. В руках у нее был гопап policier из «Черной серии». Она свистнула, совсем тихо, но Рикэр услышал свист.

— Проклятая собачонка! Она любит эту тварь больше, чем Господа Бога, — сказал он. Выпитый «ван-дер-хум», видимо, был виной некоторой нелогичности в ходе его мыслей. Он сказал: — Я не ревнив. И беспокоит меня не соперник. Где ей! Ее на это просто не хватит. Иногда она даже отказывается от выполнения своего долга.

— Какого долга?

— Долга по отношению ко мне. Ее супружеского долга.

— Это считается долгом? Вот не думал!

— Вы прекрасно знаете, что церковь именно так на это и смотрит. Отказываться никто не имеет права. Воздержание дозволено только по обоюдному согласию.

— Ей, должно быть, не всегда желательна ваша близость.

— А мне что прикажете делать? Чего же ради я отказался от священнического сана?

— На вашем месте я бы поменьше говорил с ней о любви к Богу, — нехотя сказал Куэрри. — Вряд ли она способна провести параллель между этим и вашей постелью.

— Для католика существование такой параллели бесспорно, — быстро проговорил Рикэр. Он поднял руку, точно отвечая на вопрос перед всем классом. Волоски, темневшие на фалангах его пальцев, были похожи на ряды маленьких усиков.

— Вы, видимо, сильны в этом предмете, — сказал Куэрри.

— В семинарии у меня всегда были хорошие отметки по нравственному богословию.

— В таком случае, я вам не нужен. Ни я, ни отцы миссионеры. У вас, верно, все уже продумано и выводы сделаны.

— Ну, это само собой. Но иной раз так нуждаешься в подтверждении своих мыслей и в моральной поддержке. Вы не можете себе представить, мосье Куэрри, какую я испытываю радость, обсуждая все эти вопросы с образованным католиком!

— Вряд ли я могу считать себя католиком.

Рикэр рассмеялся.

— Что? И это говорит *наш знаменитый* Куэрри? Нет, меня не проведешь. Вы скромничаете. Удивляюсь, почему Священная Римская империя не дала вам титула графа, как тому ирландскому певцу — как его?

— Не знаю. Я человек не музыкальный.

— Вы бы почитали, что о вас пишет «Тайм»!

— В этих вопросах «Тайм» мало компетентен. Вы не будете возражать, если я пойду лягу? Мне надо рано встать завтра, а то я не доберусь засветло до следующей переправы.

— Пожалуйста. Хотя я сомневаюсь, что вам удастся попасть утром на тот берег.

Рикэр прошел следом за ним всю веранду и проводил его до спальни. Темнота клекотала кваканьем лягушек. Рикэр пожелал своему гостю спокойной ночи и вышел, а лягушки долго не унимались и будто повторяли его пустопорожние слова: таинство, долг, благодать, лю-бовь-бовь-бовь.

Глава третья

1

— Вы хотите приносить пользу, ведь так? — резко спросил доктор. — Вам не нужна просто черная работа. Вы не мазохист и не святой.

— Рикэр обещал, что он никому не проговорится.

— Он держал слово почти месяц. Для Рикэра это огромное достижение. В последний свой приезд он рассказал о вас только настоятелю, и то по секрету.

— А что ему сказал настоятель?

— Что никаких секретов вне исповедальни он слушать не желает.

Доктор распаковывал ящик с тяжелой электроаппаратурой, которую пароход ОТРАКО наконец-то доставил в лепрозорий. Замок на дверях амбулатории был слишком ненадежен, и, не решившись оставить аппарат там, он возился теперь с ящиком на полу своей комнаты. За африканцев никогда нельзя поручиться. Кто знает, как они поведут себя при виде новой для них вещи. Полгода назад, когда в Леопольдвиле начались волнения, толпа прежде всего разгромила только что отстроенную больницу для туземного населения, всю из стали и стекла. Сколько здесь возникало слухов, один другого чудовищнее, и чаще всего их принимали на веру! Это была страна, где мессии умирали по тюрьмам и воскресали из мертвых, где от прикосновения кончиков ногтей, освященных щепоткой нетленного праха, будто бы рушились стены. Один человек, которого доктор вылечил от проказы, каждый месяц писал ему угрожающие письма, в полной уверенности, что его отослали из лепрозория домой не по излечении, а только потому, что доктор позарился на пол-акра земли, где он выращивал бананы. Достаточно кому-нибудь пустить слух — со зла или по невежеству, — будто новые машины привезли для того, чтобы подвергать больных пыткам, и найдется дурачье, которое ворвется в амбулаторию и переломает их. Впрочем, в наш век вряд ли можно называть таких людей дураками. После Хола-кэмп, Шарпвиля^[17] и Алжира любые рассказы о жестокости европейцев не будут преувеличением.

Вот почему, пояснил доктор, лучше убрать эти машины с глаз долой и держать их дома, пока не выстроят новую больницу. Пол в его комнате был устлан соломой, высыпавшейся из ящиков.

— Надо решить заранее, где ставить штепсели. А вот это для чего? Вы не знаете?

— Нет.

— Долго же я его добивался! — сказал доктор, касаясь холодного металла с такой же нежностью, с какой ценитель мог бы поглаживать женское бедро роденовской бронзы^[18]. — Иной раз терял всякую надежду. Сколько пришлось писать разных бумаг, выдумывать бог знает какие небылицы. И вот наконец-то пришел!

— А для чего он?

— Им измеряют реакцию нервов с точностью до одной двадцатитысячной доли секунды. Наступит день, когда мы будем гордиться нашим лепрозорием. И вами будем гордиться, и вашим участием в наших делах.

— Я вам уже сказал, что я в отставке.

— От призвания уйти в отставку нельзя.

— Еще как можно! Когда истратишь себя до конца.

— Тогда зачем вы сюда приехали? Крутить роман с чернокожей?

— Нет. В этом тоже приходишь до конца. Очень может быть, что сексуальность и призвание одновременно рождаются и одновременно умирают. Поручите мне свертывать бинты, выносить ведра. Я думаю только об одном — как убить время.

— А мне казалось, вы хотите приносить пользу.

— Слушайте, — сказал Куэрри и замолчал.

— Слушаю.

— Я не отрицаю, что когда-то мое призвание очень много для меня значило. И женщины тоже. Но мне было безразлично, как используется то, что выходит из-под моих рук. Я строил не фабрики и не здания муниципалитетов. Я работал только ради собственного удовольствия.

— И женщин любили точно так же? — спросил доктор, но Куэрри вряд ли слышал его. Он говорил, будто изголодавшийся человек, который никак не насытится.

— Не равняйте свое призвание с моим, доктор. Вы печетесь о людях. А мне не было дела до людей, до тех, кто займет пространство, над которым я работал. Я думал только о самом пространстве.

— Тогда я не рискнул бы пользоваться санитарным узлом в ваших постройках.

— А писатель разве пишет для читателей? Ведь нет! И все же ему приходится проявлять хотя бы элементарную заботу о них. Мне были важны пропорции, пространство, освещение. Новые материалы представляли для меня ценность только в той мере, в какой они могли влиять на эти три компонента. Дерево, кирпич, сталь, бетон, стекло — пространство меняется в

зависимости от того, во что вы его облачаете. Материалы — это лишь фабула для архитектора. Не они побуждают его к работе. Побудителями служат только пространство, свет, пропорции. Нельзя смешивать тему романа с фабулой. Разве кто-нибудь помнит, какая судьба постигла в конце концов Люсьена де Рюбампре [\[19\]](#)?

— Две ваши церкви считаются шедеврами. Неужели вас не интересовало, как там будут чувствовать себя люди?

— Интересовала акустика — она должна быть хорошая. Интересовало положение алтаря — его должно быть видно отовсюду. Но людям мои церкви не понравились. Люди говорили, что в таких церквях нельзя молиться. А понимать их следовало так: это не готика, не романский, не византийский стиль. Не прошло и года, как там понаставили дешевых гипсовых святых, заменили обычные оконные стекла витражами с изображениями консервных королей — покойных жертвователей в епископальную казну. И вот, изуродовав созданное мною пространство и освещение, люди могли молиться в этих церквях и даже сделали предметом гордости то, что сами же изуродовали. Меня стали называть великим католическим архитектором, но церковей, доктор, я больше не строил.

— Я человек не религиозный и не очень-то разбираюсь во всем этом, но, по-моему, люди вправе считать, что их молитвы важнее, чем произведение искусства.

— Люди молились в тюрьмах, молились в трущобах и концлагерях. Подходящая обстановка для молитв требуется только буржуазии. Мне иной раз претит самое слово «молитва». У Рикэра оно не сходит с языка. А вы сами, доктор, молитесь?

Если не ошибаюсь, последний раз я молился перед государственными экзаменами. А вы?

— У меня с этим давно покончено. Я редко молился и в те далекие времена, когда верил. Это мешало работать. Последнее, о чем я думал, перед тем как заснуть, даже если рядом со мной лежала женщина, это была работа. Во сне часто находились решения задач, казавшихся неразрешимыми. Спальня у меня была рядом с кабинетом — так, чтобы перед сном я мог провести последние две минуты у чертежной доски. Постель, бидэ, чертежная доска и наконец — сон.

— Не жестоко ли это по отношению к женщине?

— Самовыражение — вещь жестокая и жадная. Оно поедает все, даже тебя самого. В конце концов и выражать тебе больше некого. Меня, доктор, теперь ничто не интересует. Ничего теперь не хочу — ни спать с женщиной, ни проектировать здания.

— Детей у вас нет?

— Были когда-то, да разбрелись по свету давным-давно. Мы не видались, не переписывались. Самовыражение поедает в человеке даже отца.

— И вы решили приехать сюда и здесь умереть.

— Да. Такая мысль у меня была. Но больше всего я хотел очутиться в пустоте, в таком месте, где ни новое здание, ни женщина не напомнят мне, что когда-то я был жив, и у меня было призвание, и я мог любить — если это называть любовью. Больные с лепрозными язвами страдают, нервы у них не потеряли чувствительности, а я увечный, доктор.

— Двадцать лет назад смерть была бы вам здесь обеспечена, но теперь наше дело — лечить.

Годичная доза ДДС на больного обходится в три шиллинга. Это гораздо дешевле гроба.

— А меня вы беретесь вылечить?

— Увечье у вас, возможно, еще не полное. Если больной обращается за помощью слишком поздно, лепра может пройти сама собой ценой потери пальцев на руках и на ногах, ценой увечья. — Доктор бережно покрыл чехлом свой аппарат. — Меня ждут другие пациенты. Пойдете со мной или вы предпочитаете сидеть здесь и обдумывать свой собственный анамнез? С увечными это часто бывает — они тоже хотят получить отставку от жизни, скрыться с глаз людских.

Больница дохнула на них тяжелым сладковатым запахом застоя, его ничто не нарушало — ни вентиляторы, ни ветерок. Куэрри не мог не заметить убожества постелей — чистоплотность нужна только здоровым, а прокаженные могут обойтись и без нее. Больные приносили с собой собственные матрацы, служившие им, вероятно, всю жизнь, — дерюжные мешки с вылезавшей наружу соломой. Забинтованные ноги лежали на ней, точно кое-как завернутые куски мяса. На веранде прятались от солнца ходячие больные — если можно назвать ходячим человека, который при каждом шаге должен обеими руками поддерживать свои огромные распухшие яички. В клочке тени, спасавшей от безжалостного света, сидела женщина с вывороченными веками, она не могла ни закрыть глаза, ни даже моргать ими. Беспалый мужчина держал на коленях ребенка, другой лежал навзничь на полу веранды, и одна грудь у него была длинная, обвисшая, с оттянутым, как у женщины, соском. Этим доктор почти ничем не мог помочь: человек со слоновой болезнью не перенесет операции из-за слабого сердца, женщине можно сшить веки в уголках, но она не дает, боится, а ребенок в свое время все равно схватит лепру. Не мог доктор помочь ни больным в первой палате, умирающим от туберкулеза, ни вот этой женщине, которая ползала между койками, волоча за собой иссушенные полиомиелитом ноги. Доктор считал величайшей несправедливостью, что лепра не ставит преград всем другим болезням (казалось бы, на долю одного человека таких страданий достаточно!), но от других болезней его пациенты главным образом и умирали. Он переходил от одной койки к другой, а Куэрри молча следовал за ним по пятам.

В тени глинобитной кухни, позади одного из домиков поселка, сидел в старом шезлонге старик. Когда доктор вошел во двор, старик попытался встать ему навстречу, но слабые ноги не послушались его, и он ограничился учтивым жестом, прося извинения.

— Гипертония, — тихо проговорил доктор. — Безнадежен. Пришел умирать на кухню.

Ноги у старика были тонкие, как у ребенка, бедра — из приличия обернуты тряпкой, чуть пошире детского свивальника. Проходя двором, Куэрри видел, что одежда его, аккуратно свернутая, лежала в новом кирпичном домике, под портретом папы. На его впалой груди, поросшей редкими седыми волосами, висел амулет. Лицо у старика было очень доброе, полное благородства. Это было лицо человека, вероятно принимающего жизнь без единой жалобы, — лицо святого. Он справился у доктора о его самочувствии, как будто болен был доктор, а не он сам.

— Может быть, тебе что-нибудь нужно, так я принесу, — сказал Колэн. Но старик ответил: нет, у него все есть. Он спросил, давно ли писали доктору из дому, и поинтересовался здоровьем матери доктора. — Она ездила отдыхать в Швейцарию, в горы. Ей захотелось туда, где снег.

— Снег?

— Я забыл. Ты ведь не знаешь, что такое снег. Это замерзшие испарения, замерзший туман.

Воздух там такой холодный, что снег никогда не тает и лежит на земле белый, мягкий, как перья *riche-boeuf*^[20], а тамошние озера покрыты льдом.

— Что такое лед, я знаю, — с гордостью сказал старик. — Я видел лед в холодильнике. Твоя матушка старая — как я?

— Старше.

— Тогда ей нельзя уезжать далеко от дома. Умирать надо в своем поселке, если это возможно. — Он с грустью посмотрел на свои тонкие ноги. — Они не доведут меня, а то я бы ушел к себе домой.

— Хочешь, я дам тебе грузовик, — сказал доктор, — но боюсь, ты не перенесешь дороги.

— Нет, зачем же вам беспокоиться, — сказал старик. — И все равно поздно, потому что завтра я умру.

— Я скажу настоятелю, чтобы он пришел к тебе, как только освободится.

— И настоятеля я не хочу беспокоить. У него столько всяких дел. Я умру только к вечеру.

Возле старого шезлонга стояла бутылка из-под виски с ярлыком «Джонни Уокер». В какой-то бурой жидкости там торчал пучок травы, перехваченный ниткой четок.

— Что это у него? — спросил Куэрри, когда они выходили со двора. — В бутылке?

— Снадобье. Заговоренное. Так он взывает к своему богу Нзамби.

— Я думал, он католик.

— Когда мне приходится заполнять анкету, я тоже называю себя католиком, хотя в общем-то ни во что не верю. А он верит наполовину в Христа, наполовину в Нзамби. Что касается религии, разница между нами небольшая. А вот быть бы мне таким же хорошим человеком, как он!

— И он действительно умрет завтра?

— Да, по всей вероятности. У них удивительное чутье на этот счет.

В амбулатории, держа на руках маленького ребенка, доктора дожидалась прокаженная с забинтованными ступнями. На тельце у малыша резко выступали ребра, оно казалось клеткой, прикрытой на ночь куском темной материи, чтобы птица уснула, и детское дыхание было как птица, что все копошилась и копошилась под темным покровом. Убьет этого ребенка не лепра, сказал доктор, а лейкомия — неизлечимая болезнь крови. Надежды никакой. Он умрет, даже не успев заразиться лепрой, но матери говорить об этом незачем. Доктор коснулся пальцем впалой грудки, и ребенок болезненно дернулся. Тогда доктор начал сердито отчитывать мать на ее языке, а она оправдывалась — видимо, неубедительно, держа сына у бедра. Печальные круглые, как у лягушонка, глаза мальчика смотрели поверх докторова плеча с такой безучастностью, точно его уже ничто не касалось — кто бы и что бы ни говорил. Когда женщина вышла, доктор Колэн сказал:

— Обещает больше не делать этого. Да разве на них можно положиться?

— Чего не делать?

— А вы не заметили рубчика у него на груди? Ему сделали надрез и суют туда, как в карман, какие-то снадобья. Мать сваливает все на бабу. Несчастный ребенок. Без мучений ему и умереть не дадут. Я сказал ей: если это повторится, лечить тебя от проказы здесь не будут, и теперь этого мальчика мне, наверно, больше не видать. Он в таком состоянии, что его ничего не стоит спрятать, как иголку.

— А почему вы не положите его в больницу?

— Вы видели, какая у меня больница. Хотелось бы вам, чтобы ваш сын умирал в таком месте? Следующий, — сердито крикнул он. — Следующий.

Следующий был тоже ребенок, шестилетний мальчик. Вместе с ним пришел отец, и беспалая отцовская рука лежала на плече сына, подбадривая его. Доктор повернул мальчика и провел пальцами по нежной детской коже.

— Ну, — сказал он, — пора вам самому разбираться. Ваше мнение?

— Одного пальца на ноге уже нет.

— Это пустяки. У него были подкожные песчаные блохи, их не вывели вовремя. Это частое явление в джунглях. Нет, я не о том. Вот первый бугорок. Проказа только-только начинается.

— Неужели детей никак нельзя уберечь от заражения?

— В Бразилии новорожденных сразу же отделяют от больных матерей, и тридцать процентов их умирает в младенческом возрасте. Я считаю: пусть у ребенка проказа, но зато он живой. Года за два мы его вылечим.

Доктор быстро взглянул на Куэрри и снова опустил глаза.

— Когда-нибудь... в новой больнице... мы откроем специальную детскую палату и детскую амбулаторию. Я буду предупреждать появление таких вот бугорков. Я еще доживу до того времени, когда проказа начнет отступать. Известно ли вам, что есть районы, за несколько сот миль отсюда, где на каждые пять человек один — прокаженный? Сплю и вижу серийный выпуск передвижных стационаров! Способы ведения войны изменились. В 1914 году генералы командовали сражениями из загородных вилл, а в 1944 Роммель и Монтгомери воевали на ходу, из машин ^[21]. Как мне втолковать отцу Жозефу, что от него требуется? Я не чертежник. Какую-нибудь одну единственную комнату и то мне путем не спроектировать. Я смогу сказать ему, где что не так, только когда больница будет построена. Он, собственно, и не строитель, а всего-навсего хороший каменщик. Кладет себе кирпичик на кирпичик во славу Божию, как в прежние времена строили монастыри. Вот почему мне нужны вы, — сказал доктор Колэн.

Мальчик нетерпеливо скреб четырьмя пальцами по цементному полу в ожидании, когда же белые люди кончат свой бессмысленный разговор.

2

Куэрри писал в дневнике: «Делать что-нибудь для людей из жалости я не способен, потому что во мне осталось слишком мало добрых чувств к ним». Он со всеми подробностями воспроизвел в памяти рубец на детской груди и четырехпалую ногу, но это его не растрогало, булавочные уколы, сколько бы их ни было, не могут вызвать ощущение подлинной боли. Надвигалась гроза,

и летучие муравьи, роями влетая в комнату, с размаху ударялись о лампу, так что под конец окно пришлось затворить. На цементном полу муравьи бегали взад и вперед, как бы в полной растерянности от того, что они так внезапно превратились из воздушных созданий в создания земные. При затворенном окне влажная духота стала чувствоваться еще сильнее, и, чтобы пот не попадал на бумагу, Куэрри подложил под кисть промокашку.

Он писал, стараясь объяснить доктору Колэну мотивы своих поступков. «Призвание это акт любви, а не профессия, не карьера. Когда желание умирает, физическая близость с женщиной невозможна. Я истратил себя до конца и в любовных делах и в своем призвании. Не пытайтесь связать меня браком без любви, не заставляйте имитировать то, чему я когда-то отдавался со страстью. И не твердите мне, как в исповедальне, о моем долге. Талант — мы проходили это в детстве на уроках закона Божия — нельзя зарывать в землю, пока у него еще есть покупательная способность, но когда в обращение пущены другие деньги с другими изображениями, когда ценность отдельной монеты равняется лишь стоимости пошедшего на нее серебра, человек имеет право запрятать эту монету куда-нибудь подальше. Старинные монеты, так же как и зерно, всегда находят в могилах».

Писалось все это наспех и выходило довольно бессвязно. Не дано ему было отыскать точное словесное выражение своим мыслям. Кончил он так: «Все, что я строил, я строил для самого себя, а вовсе не во славу Божию и не в угоду заказчикам. Не говорите мне о людях. Люди — вне моей сферы действия. Впрочем, разве я не предлагаю стирать их грязные бинты?»

Он вырвал эти страницы из дневника и послал их с Део Грациасом доктору Колэну. Последняя недописанная фраза: «Я согласен делать для вас что угодно, в пределах разумного, но не ждите от меня попыток вернуться...» — повисла в воздухе, точно доска с борта корабля, по которой спустили в море покойника.

Позднее доктор Колэн вошел к нему и швырнул на стол его письмо, сжатое в комок.

— Все копаетесь в себе, — раздраженно проговорил доктор. — Копаетесь, и больше ничего.

— Я хотел объяснить...

— Кому какое дело? — сказал доктор, и эта фраза «кому какое дело» так и застряла у Куэрри в мозгу, точно строка стихотворения, заученного в юности.

В эту ночь ему приснился сон, от которого он проснулся в ужасе. Будто он шагал в темноте по длинному железнодорожному пути в какой-то холодной стране. Шагал быстро, потому что ему надо было поспеть к священнику — к любому — и объяснить, что, хотя одежда на нем мирская, он тоже священник и пришел сюда исповедаться и достать вина, чтобы отслужить мессу. Кто-то высший по сану повелевает им. Мессу надо отслужить этой же ночью. Завтра будет уже поздно. И больше такая возможность никогда не представится. Он дошел до какого-то поселка, свернул с железнодорожного полотна (маленькое станционное здание стояло пустое, с заколоченными окнами; может быть, и вся ветка была давно закрыта) и вскоре остановился перед домиком священника с тяжелой средневековой дверью, испещренной большими шляпками гвоздей, величиной каждая с римскую монету. Он позвонил, и его впустили. Священник сидел, окруженный какими-то дамами-святошами, которые все время что-то лопотали, но его он встретил приветливо и сразу к нему обратился, оставив своих собеседниц. Куэрри сказал:

«Мне надо немедленно поговорить с вами наедине. Выслушайте меня!» И сразу же почувствовал огромное облегчение и уверенность в силе исповеди. Он почти дома! Священник

увел его в соседнюю каморку, где на столе стоял графин с вином, но не успел он заговорить, как святоши прорвались к ним сквозь занавесь с ханжескими ужимками и шуточками. «Зачем это? — воскликнул Куэрри. — Мне надо побыть с вами наедине!» Тогда священник стал проталкивать женщин сквозь занавесь, и с минуту они болтались взад и вперед, как платья, повешенные в гардеробе на плечиках. Но вот они наедине, теперь можно начинать, и, не сводя глаз с вина, он заговорил: «Отец...» Но лишь только он приготовился сбросить с плеч бремя своего страха и ответственности, как в каморку вошел еще один священник и, отведя того, первого, в сторону, стал объяснять ему, что у него не хватило вина, нельзя ли позаимствовать, и с этими словами взял графин со стола. И тут Куэрри не выдержал. Надежда поджидала его на этом повороте дороги, а он опоздал на встречу с ней! Он вскрикнул, как раненый зверь, и проснулся. По железным крышам стучал дождь, и при вспышке молнии он увидел маленькую белую конурку величиной с гроб, которую образовывала вокруг него москитная сетка, услышал, как в одном из домов ссорились мужчина и женщина. Он подумал: «Я опоздал», — и навязчивая фраза, точно поплавок невидимой под водой рыболовной сети, снова выскочила на поверхность: «Кому какое дело? Кому какое дело?»

Когда наконец настало утро, он пошел к плотнику в лепрозорий и объяснил ему, какой нужен стол и какая нужна доска для чертежной работы, а потом разыскал доктора Колэна и поделился с ним своим решением.

— Я рад, — сказал доктор Колэн. — За вас рад.

— Почему же за меня?

— Я не знаю, что вы собой представляете, — сказал доктор Колэн, — но все мы сделаны более или менее на один лад. Эксперимент, который вы задумали, невыполним. Человек не может жить наедине с самим собой.

— Еще как может!

— Рано или поздно это доведет его до самоубийства.

— Если он не потеряет интереса к своей персоне, — ответил Куэрри.

Глава четвертая

1

Месяца через два Куэрри и Део Грациас в какой-то степени прониклись доверием друг к другу. На первых порах основанием к этому послужило только то, что слуга был калека. Куэрри не сердился на него, когда он расплескивал воду, не вышел из себя в тот раз, когда его чертеж был залит чернилами из разбитой бутылки. Ведь не так-то легко выполнять даже самую простую работу, когда нет пальцев ни на руках, ни на ногах, и, во всяком случае, если человеку все безразлично, то сердиться нелепо, да и не стоит труда. Как-то раз калеку-боя угораздило сшибить со стены распятие, которое отцы миссионеры оставили в комнате Куэрри, и он ждал, что хозяин воспримет это так же, как воспринял бы он сам, если бы кто-нибудь, по небрежности или по злему умыслу, разбил его собственный фетиш. Долго ли ему было принять равнодушие за доброту?

Однажды вечером, в полнолуние, Куэрри вдруг почувствовал, что слуги нет дома, — так замечаешь во временном жилье пустое место на камине, прежде как будто занятое чем-то. Кувшин стоял без воды, сетка от москитов не была спущена, а позже, идя к доктору

посоветоваться насчет удешевления строительства, Куэрри увидел, как Део Грациас ковыляет с костылем по главной улице поселка, изо всех сил торопясь куда-то, если только на беспалых ногах можно торопиться. Лицо у Део Грациаса было мокрое от пота, и, когда Куэрри окликнул его, он быстро завернул в первый же двор. Возвращаясь домой через полчаса, Куэрри увидел, что его бой стоит на том же самом месте, точно пенек, который не удосужились выкорчевать. Пот змеился у него по лицу, как дождевые струи по древесной коре, и он будто вслушивался в какие-то далекие-далекие звуки. Куэрри тоже прислушался, но услышал только стрекотанье цикад и нарастающее волной лягушиное кваканье. К утру Део Грациас не вернулся, и Куэрри почувствовал нечто вроде разочарования от того, что слуга ушел, не потрудившись предупредить его. Он сказал об этом доктору.

— Если и завтра не появится, вы подыщите мне другого боя?

— Непонятная история, — ответил доктор Колэн. — Я определил его к вам, чтобы он мог остаться в лепрозории. Ему не хотелось уходить.

Ближе к вечеру один из прокаженных подобрал костыль Део Грациаса на тропинке, которая вела в самую гущу джунглей, и пришел с ним в комнату Куэрри, где тот работал, стараясь до конца использовать дневной свет.

— Откуда ты знаешь, что это его костыль? Здесь все калеки ходят с такими, — сказал Куэрри, но прокаженный просто повторил, что это костыль Део Грациаса, не приведя ни доводов, ни доказательств. Вот еще одна вещь, которая каким-то образом этим людям ведома, а ему — нет.

— Уж не случилось ли с ним что-нибудь?

— Да, случилось, — кое-как выговорил по-французски прокаженный, и у Куэрри сложилось впечатление, что, по понятиям этого человека, несчастный случай не самое страшное.

— Так почему же ты не пойдешь поискать его? — спросил Куэрри.

— Темно, — сказал прокаженный, — под деревьями ничего не разглядишь. Надо ждать утра.

— Но уже почти сутки, как его нет. Если с ним что-нибудь случилось, мы и так сколько промешкали. Возьми мой электрический фонарик.

— Лучше утром, — повторил прокаженный, и Куэрри понял, что он боится.

— А со мной пойдешь?

Прокаженный покачал головой, и Куэрри пошел один.

Он прощал этим людям страхи: только человек, ни во что не верящий, может не бояться джунглей в ночную пору. В этих лесах нет никакой романтики. Они абсолютно пусты. Их никто никогда не очеловечивал, не населял, как европейские леса, колдуньями, дровосеками и пряничными домиками; никто не блуждал под сенью этих деревьев, оплакивая безответную любовь, никто не вслушивался здесь в тишину и в голос собственного сердца, подобно поэтам озерной школы. Тишины здесь не было, и если бы человек захотел, чтобы его слышали ночью в этой чаще, ему пришлось бы кричать во весь голос, чтобы перекрыть непрерывное стрекотанье насекомых, — кричать, как на некоей чудовищной фабрике, где мириады голодных работников, стараясь обогнать время, крутят и крутят ручки швейных машин. Только на час, на два приходит сюда тишина — в полуденный зной, когда у насекомых сиеста.

Но если верить, как верят африканцы, в высшее существо, то почему бы какому-нибудь божеству не обитать в этих пустых пространствах? Чем они хуже пустынных просторов неба, где Богу издавна отведено место? Судя по всему, здешние бескрайние леса останутся неисследованными дольше, чем планеты. Лунные кратеры уже сейчас изучены лучше, чем вот эта лесная чаща, в глубь которой можно пройти пешком прямо с порога своего жилья. Резкий болотистый запах стоячей воды и гниющих растений наркотной маской прильнул к лицу Куэрри.

Глупейшая затея. Он не охотник. Он городской житель. Разве ему удалось бы обнаружить здесь человеческие следы даже при дневном свете! И костыль еще ничего не доказывает. Поводя фонариком вправо и влево, он выхватывал из темноты только поблескивающие в зарослях точки и лучики, и это могли быть чьи-то глаза, а вернее, дождевые капли, скопившиеся в завитках листьев. Он вышел из дому с полчаса назад и, вероятно, прошел не меньше мили по этой узкой тропе. Палец у него соскочил с движка фонарика, и в кромешной тьме он сразу же уткнулся в непроходимую стену джунглей. В голове мелькнуло: «С чего это я взял, что батареи хватит и на обратный путь?» Шагая вперед, он не переставал думать об этом. На вопрос доктора Колэна, что его заставило остаться в лепрозории, он ответил: «Баржа дальше не идет». Но ведь пешком всегда можно пройти еще немного дальше. Он позвал: «Део Грациас!» — стараясь перекричать трескотню насекомых, но на это нелепое имя, прозвучавшее как возглас с амвона, никто не отозвался.

Его блуждание в джунглях было так же трудно объяснить, как и уход Део Грациаса. Мысль о том, что слуга, беспомощный, лежит в лесу и ждет, не послышатся ли человеческие шаги, человеческий голос, в прежнее время, может быть, не дала бы ему уснуть всю ночь и заставила бы что-то предпринять, хотя бы для успокоения совести. Но теперь, когда ему все безразлично, что его гонит вперед — остатки былой любознательности? Что заставило Део Грациаса бросить надежную, привычную обстановку лепрозория и прийти сюда? Правда, может быть, эта тропинка и ведет куда-нибудь — например, в поселок, где у него есть родичи. Впрочем, он, Куэрри, уже успел настолько познакомиться с Африкой, что не надеялся на это. Тропинка, должно быть, скоро заглохнет, вернее всего, ее когда-то давно протоптали те люди, что искали здесь гусениц и потом пекли их в золе. Очень может быть, что конец тропы отметит крайнюю точку проникновения человека в джунгли. А отчего лицо у Део Грациаса было все в поту? От страха, от волнения? Может быть, даже от усиленной работы мысли? Это не удивительно, когда живешь в приречной влаге и жаре. Интерес начал болезненно пульсировать в нем, как нерв, который отходит после анестезии. Его жизнь так давно двигалась вперед только по инерции, что теперь он с клиническим бесстрашием обследовал сам в себе этот интерес.

Прошло больше часа, как он вошел в джунгли. Каким образом Део Грациас мог забраться так далеко без костыля, на своих култышках? То, что батареи хватит на обратный путь, становилось и вовсе сомнительным. И все-таки он шел дальше и дальше. Как это глупо — не сказать ни доктору, ни кому-нибудь из миссионеров о своем уходе. А вдруг с ним что-нибудь случится? Но разве несчастный случай это не то самое, на что он напрашивается? Как бы там ни было, а он шел все дальше и дальше под гуденье пикирующих на него mosquitos. Отмахиваться от них не имело смысла. Он приучал себя покоряться им.

Шагов через сто он вздрогнул, услышав какой-то отрывистый хриплый звук, — так, вероятно, мог бы хрюкнуть дикий кабан. Он остановился и повел вокруг угасающим фонариком. Да, много лет назад эта тропинка, несомненно, куда-то вела, потому что прямо перед ним виднелись остатки давно сгнившего моста из поваленных деревьев. Еще шаг-другой, и он свалился бы в этот провал. Правда, валиться было бы недалеко — всего несколько футов, а там внизу — неглубокое, затянутое зеленью болотце. Но для калеки с изуродованными руками и ногами этого оказалось достаточно: луч фонаря уткнулся в тело Део Грациаса, наполовину

ушедшее под воду. Куэрри увидел две борозды в жидкой грязи откоса, проведенные будто не руками, а перчатками для бокса, в попытке ухватиться за что-нибудь. Потом внизу снова послышалось хрюканье, и Куэрри сполз по откосу к неподвижному телу.

Куэрри не мог разобраться, в сознании Део Грациас или нет. О том, чтобы поднять его, нечего было и думать, а сам он не старался помочь. Его тело — мокрое, теплое, было на ощупь как отвал грунта, как часть этого моста, рухнувшего много лет назад. Провозившись с ним минут десять, Куэрри кое-как ухитрился подтащить его повыше, чтобы ноги были не в воде, но больше ему ничего не удалось сделать. Теперь оставалось только одно: идти за помощью, если фонарика хватит на обратный путь. Откажутся африканцы, так из миссионеров двое-трое уж наверняка помогут. Он сделал движение, чтобы выбраться наверх, к мосту, и тут Део Грациас завыл, как собака, зашелся, как ребенок. Он взмахнул своим беспалым обрубок и завыл, и Куэрри понял, что Део Грациаса сковал страх. Беспалая культя молотом опустилась ему на плечо и пригвоздила его к месту.

Надо было ждать утра. Один Део Грациас, пожалуй, умрет тут со страха, а от сырости и от москитов не умирают — это им не грозило. Куэрри устроился поудобнее рядом со своим боем и, воспользовавшись последними лучами фонаря, осмотрел его твердые, как камень, ноги. Насколько он мог судить, левая была сломана в лодыжке, но тем дело, кажется, и ограничивалось. Вскоре фонарь так потускнел, что в темноте стала видна нить накала, похожая на фосфоресцирующего червячка, потом и она погасла. Чтобы успокоить Део Грациаса, Куэрри взял его за руку, вернее, положил рядом с его рукой свою, потому что беспалую кисть не возьмешь. Део Грациас хрюкнул два раза, потом проговорил какое-то слово. Что-то вроде «пенделэ». В темноте костяшки его культы были на ощупь точно камень, источенный дождями и ветром.

2

— Времени на размышления у нас обоих было достаточно, — сказал Куэрри доктору Колэну. — Отойти от него я решил только часов в шесть, когда рассвело. Да, вероятно, около шести. Я забыл завести часы.

— Представляю себе, какой долгой и томительной показалась вам эта ночь.

— Бывало и хуже, когда ты один как перст. — Он помолчал, напрягая память в поисках примера. — Ночи, когда всему конец. Они как вечность. А эта ночь будто была всему началом. Физические неудобства меня никогда особенно не пугали. Приблизительно через час я шевельнул рукой, но он не дал мне отнять ее. Придавил култышкой, как пресс-папье. Странное у меня было ощущение — будто он во мне нуждается.

— Почему же странное? — спросил доктор Колэн.

— Для меня странное. Я сам довольно часто нуждался в людях. Мне можно поставить в вину, что я не столько любил людей, сколько старался как-то использовать их. Но знать, что ты сам кому-то нужен, это совсем другое ощущение. Оно не возбуждает, а успокаивает. Что значит слово «пенделэ»? Когда я хотел отнять руку, он вдруг заговорил. До сих пор я не очень-то прислушивался к их здешней речи — так, краем уха, как слушаешь детскую болтовню, и понять эту смесь французского с каким-то африканским наречием мне было нелегко. А слово «пенделэ» я уловил сразу, он то и дело его повторял. Что оно значит, доктор?

— Если не ошибаюсь, то же, что и «бункаси» — гордость, надменность, отчасти независимость и чувство собственного достоинства, если истолковать это слово в его наилучшем смысле.

— Нет, что-то не то. По-моему, он говорил о каком-то месте — где-то в лесу, около воды, где происходило что-то очень важное для него. Последний день в лепрозории ему мешало удушье. Он, конечно, не употребил слова «удушье», а сказал, что было мало воздуха, что хотелось кричать во весь голос, бегать, петь, плясать. Но плясать и бегать он, бедняга, не может, а его песни вряд ли понравились бы отцам миссионерам. И вот он пошел на поиски того места у воды. Его однажды носила туда мать, когда он был ребенком, и ему запомнилось, как там пели и плясали, играли в какие-то игры и молились.

— Но Део Грациас не здешний. Он за сотни миль отсюда.

— Может быть, на свете есть не одно Пенделэ.

— Третьего дня ночью из лепрозория ушло много людей. Большинство вернулось. У них там, видимо, происходил какой-то шабаш. А он поздно вышел и не поспел за ними.

— Я его спросил, какие молитвы они читали. Он сказал, что все молились тогда Езу Кристо и еще какому-то Симону. Неужели это Симон Петр^[22]?

— Нет, не тот. Про этого Симона расспросите миссионеров, они вам расскажут. Он умер в тюрьме лет двадцать назад. И люди ждут, что он восстанет из мертвых. Странные формы приняло здесь христианство, но, по-моему, апостолы легче усвоили бы эти формы, чем то, что изложено в полном собрании сочинений Фомы Аквинского^[23]. Если бы Петр разобрался в его учении, это было бы большим чудом, чем пятидесятница. Как вы считаете? На мой взгляд, и в Никейском символе веры^[24] есть что-то от высшей математики.

— Не выходит у меня из головы это слово — «пенделэ».

— Мы привыкли думать, что надежду питают только в молодости, — сказал доктор Колэн, — но она встречается и как старческое заболевание. Злокачественные опухоли иной раз обнаруживаешь неожиданно, когда человек умирает после операции, сделанной по другому поводу. Здешние люди все умирающие... Не от лепры, нет! Мы — причина их смерти. И последняя их болезнь — это надежда.

— Теперь, если я вдруг исчезну, — сказал Куэрри, — вы знаете, где меня искать.

Какой-то странный хриловатый звук заставил доктора взглянуть на него: лицо у Куэрри перекосило оскалом улыбки. Доктор с удивлением убедился, что мосье Куэрри изволил пошутить.

Часть III

Глава первая

1

Мосье и мадам Рикэр ехали в город на прием к губернатору. В одном из поселков по пути, у самой дороги, стояла на подпорках огромная деревянная клетка, под которой раз в году, на праздник, разводили костер, а в клетке над огнем плясал человек; тридцатью километрами раньше, в зарослях, они проехали мимо кресла, где сидело сделанное из волокна и орехов масличной пальмы некое чудовищное подобие человеческой фигуры. Загадочные предметы были как бы дактилоскопическими отпечатками Африки. Голые женщины, вымазанные белой

глиной, выкопанной из могил, при виде машины убегали вверх по склону, пряча от них лицо.

Рикэр сказал:

— Когда мадам Гэлль спросит тебя, что ты будешь пить, попроси стакан минеральной воды.

— А orange pressee [25] нельзя?

— Если увидишь, что на буфете стоит целый графин, тогда пожалуйста. Не то получится неловко.

Мари Рикэр с серьезным лицом выслушала наставление и перевела взгляд с мужа на скучную в своем однообразии стену джунглей. Единственная тропинка, уводившая в лесную чашу, была занавешена циновками, чтобы никто из белых не видел, как там будут справлять праздничные обряды.

— Ты слышала, что я сказал, дорогая?

— Да. Я не забуду.

— И еще сэндвичи. Не налегай на них, как в прошлый раз. Мы не наедаемся туда едем. Это производит дурное впечатление.

— Я ничего в рот не возьму.

— Это тоже не годится. Подумают, ты не ешь, потому что все черствые. А сэндвичи у них почти всегда черствые.

Медалька с изображением святого Христофора болталась под ветровым стеклом, как амулет.

— Я боюсь, — сказала Мари Рикэр. — Все это так сложно, а мадам Гэлль к тому же не любит меня.

— Да нет, не в том дело, — добреньким голосом втолковывал ей Рикэр. — Простой раз — помнишь? — ты поднялась раньше жены верховного комиссара. Мы, конечно, не обязаны подчиняться здешнему нелепому этикету, но я не хочу, чтобы нас считали выскочками, а по здешним правилам ведущие коммерсанты идут по рангу за государственными служащими. Следи за мадам Кассэн — когда она начнет прощаться.

— Я никак не запомню их фамилий.

— Ну, толстая такая. Ее нельзя не заметить. Да, кстати, если там будет Куэрри, не стесняйся и пригласи его ночевать к нам. В такой дыре чего только не дашь, чтобы поговорить с интеллигентным человеком. Ради Куэрри я даже стерплю этого атеиста доктора Колэна. Вторую кровать можно будет поставить на веранде.

Но ни Куэрри, ни Колэна на приеме у губернатора не было.

— Мне минеральной воды, пожалуйста, если вас не затруднит, — сказала Мари Рикэр.

Из сада всех пригласили в дом, потому что грузовик, разъезжающий в этот час по улицам, обстреливал город зарядами ДДТ и окутывал его ядовитым гигиеническим туманом.

Мадам Гэлль собственными ручками любезно подала Мари Рикэр стакан минеральной воды.

— Вы здесь, кажется, единственные, — сказала она, — кто успел познакомиться с нашим знаменитым Куэрри. Мэр хотел бы получить его автограф для Золотой книги, но он, видимо, безвыездно живет там, в этом скорбном месте. Может быть, вы его оттуда вытащите нам всем на благо?

— Мы с ним еле знакомы, — сказала Мари Рикэр. — Он как-то переночевал у нас, вот и все. И остался-то он только потому, что был разлив. Мне кажется, ему ни с кем не хочется встречаться. Мой муж обещал никому не говорить, что...

— Ваш муж поступил совершенно правильно, рассказав нам. Хорошо бы мы выглядели, если бы не знали, что здесь, у нас, появился знаменитый Куэрри. Какое он на вас произвел впечатление?

— Я с ним почти не говорила.

— По слухам, в некоторых отношениях репутация у него весьма и весьма скверная. Вы читали статью в «Тайме»? Ах что же я? Ведь ваш муж и показал ее нам! Об этом там, конечно, не пишут. Такие слухи ходят о нем в Европе. Впрочем, не надо забывать, что некоторые из великих святых тоже прошли через... как бы это назвать?

— Я слышу, вы говорите о святых, мадам Гэлль? — спросил Рикэр. — Какое у вас всегда прекрасное виски!

— О святых? Нет, не совсем. Мы беседуем о Куэрри.

— Я считаю, — сказал Рикэр, чуть повысив голос, точно наставник в шумном классе, — что со времени Швейцера приезд Куэрри — это, пожалуй, самое важное событие для Африки, и к тому же ведь Швейцер протестант. А какой он великолепный собеседник! Я в этом убедился, когда он ночевал у нас. Вы слышали про его последний подвиг? — Рикэр обратился ко всем сразу, позвякивая кусочками льда в стакане, точно в руках у него был колокольчик. — Две недели назад он, говорят, отправился в джунгли на поиски прокаженного, который сбежал из лепрозория. Провел там всю ночь, молился с ним, уговаривал его и в конце концов уговорил вернуться в лепрозорий и продолжать лечение. Ночью шел дождь, прокаженного трясла лихорадка, и Куэрри согревал его своим телом.

— Какая непосредственность! — воскликнула мадам Гэлль. — Скажите, а он не...

Губернатор был небольшого роста, близорукий, и близорукость придавала ему напряженно-глубокомысленный вид, что же касается его манеры держаться, то он явно рассчитывал на протекторат жены, хотя, подобно всем малым нациям, гордым своей культурой, не очень охотно мирился с ролью сателлита.

Он сказал:

— В мире немало святых и помимо тех, что признаны церковью.

Это заявление официально санкционировало поступок, который иначе мог бы показаться эксцентрическим, а пожалуй, и двусмысленным.

— А кто он такой, этот Куэрри? — спросил управляющего конторой ОТРАКО директор отдела городского хозяйства.

— Говорят, знаменитый архитектор. Вам следовало бы знать. Это по вашей части.

— Но ведь он приехал сюда не как официальное лицо?

— Он помогает миссионерам строить новую больницу в лепрозории.

— Но эти планы я давным-давно утвердил. Зачем им архитектор? Там нужны простые строительные работы.

— Уверяю вас, больница — это только первый шаг, — сказал Рикэр, вмешиваясь в разговор и становясь в центре круга. — Он проектирует современную африканскую церковь. Сам мне на это намекнул. Куэрри — провидец. То, что он строит, останется в веках. Молитва, одетая в камень. А вот и монсеньер. Теперь мы узнаем, как относится к Куэрри церковь.

Епископ был высокий щеголеватый господин с элегантно подстриженной бородкой и масляными глазками бульвардье прежних времен. Мужчинам он руки не протягивал, великодушно избавляя их от необходимости преклонять колена. Но женщины любили целовать его перстень (невинная форма флирта), и он охотно позволял им это.

— Итак, среди нас появился святой, монсеньер, — сказала мадам Гэлль.

— Вы мне льстите. А как себя чувствует губернатор? Я его что-то не вижу.

— Он пошел отпереть буфет, сейчас нам подадут еще виски. Сказать вам правду, монсеньер, я имела в виду не вас. Мне бы не хотелось, чтобы вы обрели святость — во всяком случае, в ближайшее время.

— Августинианская мысль, — несколько туманно выразился епископ.

— Мы говорили о Куэрри, о нашем Куэрри, — пояснил Рикэр. — Человек с его положением вдруг решает похоронить себя в лепрозории, проводит всю ночь в джунглях около прокаженного, молится с ним. Согласитесь, монсеньер, что такое самопожертвование встречается не часто. Как вы считаете?

— Интересно, он играет в бридж?

Губернаторская реплика была принята как официальное одобрение поступка Куэрри, вопрос же епископа истолковали в том смысле, что мудрая церковь, повинувшись традициям, держит свои оценки при себе.

Епископ согласился выпить orange pressee. Мари Рикэр грустным взглядом проводила его стакан. Она отставила свою минеральную воду в сторону и теперь не знала, куда девать руки. Епископ ласково обратился к ней:

— Вас надо обучить бриджу, мадам Рикэр. У нас осталось слишком мало игроков.

— Я боюсь карт, монсеньер.

— Я благословлю колоду и сам вас научу.

Мари Рикэр не поняла, шутит епископ или нет. На всякий случай она чуть заметно улыбнулась.

Рикэр сказал:

— Не понимаю, как человек масштаба Куэрри может работать с атеистом Колэном. Уверю вас, этот субъект не понимает значения слова «благотворительность». Помните, я хотел учредить в прошлом году День прокаженного? Он не пожелал иметь к этому никакого касательства. Заявил, что принимать такую благотворительность ему не по средствам. Мы собрали четыреста платьев и мужских костюмов, но Колэн отказался распределить их, потому, видите ли, что на всех этого не хватит и ему придется платить за остальное из собственного кармана, чтобы никто никому не завидовал. Ну помилуйте, с какой стати прокаженным кому-то завидовать? Вам следовало бы побеседовать с ним, монсеньер, о смысле благотворительных деяний.

Но монсеньер уже успел отойти от него, поддерживая под локоть Мари Рикэр.

— Ваш супруг, кажется, очень интересуется этим Куэрри?

— Он рассчитывает, что с ним можно будет поговорить.

— А разве вы такая уж молчаливица? — спросил епископ игривым тоном, точно он подцепил ее где-нибудь у кафе на бульварах.

— О том, что его интересует, я не умею говорить.

— О чем же это?

— О свободе воли, и божественной благодати, и... и о любви.

— О любви?.. Бросьте, бросьте! В любви-то вы кое-что смыслите!

— Он не про ту любовь, — сказала Мари Рикэр.

2

К тому времени, когда Рикэры собрались уходить — из-за мадам Кассэн они страшно задержались, — степень опьянения Рикэра достигла опасной черты. От бьющей через край благожелательности он перешел к недовольству — своего рода космическому недовольству, которое вслед за поисками недостатков в других людях обращалось к исследованию его собственных. Мари Рикэр знала, что, если ее муж согласится на этой первоначальной стадии принять снотворное, все еще может обойтись. Забвение придет к нему раньше, чем религиозный подъем, который, подобно распахнутой настежь двери в районе красных фонариков, неизменно приводил к постельным делам.

— Мне иной раз кажется, — сказал Рикэр, — что нашему епископу не хватает возвышенности духа.

— Он был очень мил со мной, — сказала Мари Рикэр.

— Наверно, завел разговор о картах?

— Да, предложил научить меня бриджу.

— Он же знает, что я запрещаю тебе играть в карты.

— Откуда? Я никому об этом не говорила.

— Я не допущу, чтобы моя жена превратилась в типичную колонистку.

— По-моему, она уже превратилась. — Мари добавила чуть слышно: — Хочу быть как все.

Он продолжал раздраженно:

— Здешние дамы только и знают, что болтать целыми днями о всякой чепухе и...

— Ах, если бы я тоже умела болтать! Вот было бы хорошо! Хоть бы кто научил меня!

Так бывало всегда. Кроме минеральной воды, она ничего не пила, а развязывало ей язык его спиртуозное дыхание, будто виски проникало в кровь к ней самой, и то, что она говорила в таких случаях, было недалеко от истины. Истина, коей, по словам евангелиста, полагалось бы «делать нас свободными», раздражала Рикэра, точно заусеница. Он сказал:

— Что за вздор! Перестань рисоваться. Иногда в тебе вдруг появляется что-то общее с мадам Гэльль.

Ночь встречала их своим нестройным хором, и звуки, несшиеся из джунглей и справа и слева, заглушали рокот мотора. Ей вдруг так захотелось пройтись по магазинам, что карабкаются вверх по крутой улице Намюр! Она уставилась в светящуюся приборную доску, пытаясь разглядеть за ней витрину с обувью. Потом вытянула ногу рядом с тормозной педалью и прошептала:

— Я ношу шестой номер.

— Что ты сказала?

— Ничего.

В свете фар она увидела деревянную клетку — будто вдоль дороги шествовал марсианин.

— Завела дурную привычку разговаривать сама с собой.

Она промолчала. Ведь ему не скажешь: мне больше не с кем говорить о кондитерской на углу, о том, как сестра Тереза сломала ногу, о пляже в августе, где я была с родителями.

— Тут большая доля моей вины, — сказал Рикэр, переходя во вторую стадию. — Я этого не отрицаю. Мне не удалось приобщить тебя к истинным духовным ценностям — истинным с моей точки зрения. Чего же еще ждать от управляющего маслобойным заводом? Я не создан для такой жизни. Казалось бы, даже ты должна понять это.

Его самодовольная желтая физиономия, точно маска, висела между ней и Африкой.

Он сказал:

— В молодости мне хотелось стать священником.

С тех пор как они поженились, он говорил ей об этом после выпивки, по крайней мере раз в месяц, и каждый раз она вспоминала их первую ночь в антверпенском отеле, когда он снял с нее свое тело и, точно нетуго набитый мешок, шмякнулся рядом, и тогда ее рука с нежностью коснулась его плеча (жесткого и круглого, как брюква), потому что ей показалось, будто она в чем-то не угодила ему, и он грубо спросил: «Тебе что, мало? Мужчина не может без конца». Потом он лег на бок, отвернувшись от нее; медалька, с которой он никогда не расставался, была закинута за спину во время их объятий и теперь лежала у него ниже поясницы, укоризненно глядя ей в лицо. Она хотела сказать в свое оправдание: «Ты женился на мне по

своей воле. Я тоже целомудренная — меня воспитали монахини». Но целомудрие, которому учили в монастыре, связывалось в ее представлении с чистой белой одеждой, со светом и нежностью, а у него оно было как заношенная власяница пустынника.

— Что ты сказала?

— Ничего.

— Я делюсь с тобой самыми сокровенными своими чувствами, а тебе хоть бы что.

Она проговорила жалобным голосом:

— Может, это ошибка?

— Какая ошибка?

— Наш брак. Я была слишком молода.

— Ах, вот как! Значит, я слишком стар и не удовлетворяю тебя?

— Нет, нет!.. Я не...

— Для тебя любовь существует только в одном определенном смысле. Что же, по-твоему, такой любовью обходятся и святые?

— Я не знаю ни одного святого, — в отчаянии проговорила она.

— Ты не допускаешь, что я, человек скромный, способен пройти сквозь непроглядную ночь души? Да где мне! Ведь я всего-навсего твой муж, который спит с тобой в одной постели!

Она прошептала:

— Я ничего не понимаю. Не надо, прошу тебя. Я ничего не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Я думала, что любовь должна приносить людям счастье.

— Вот чему тебя учили в монастыре!

— Да.

Он скорчил гримасу и тяжело задышал, отчего в кабине сразу же запахло виски «Бочка 69». Они проехали мимо страшного чучела в кресле; до дома теперь было близко.

— О чем ты думаешь? — спросил он.

Она снова была в магазине на улице Намюр, и пожилой мужчина бережно — так бережно! — надевал ей на ногу туфлю на гвоздике. Она ответила:

— Ни о чем.

Рикэр проговорил неожиданно мягким голосом:

— Какая благоприятная минута для молитвы.

— Для молитвы? — Она поняла, что ссоре конец, но не испытала при этом ни малейшего облегчения, так как знала по опыту, что стоит начаться дождю, жди молнии над самой головой.

— Когда мне не о чем думать, точнее, когда у меня нет ничего такого, о чем думать необходимо, я всегда читаю «Отче наш» и «Аве Мария» и даже покаянную молитву.

— Покаянную?

— Да, приношу покаяние, что понапрасну рассердился на одну милую девочку, которую я люблю.

Его рука легла ей на бедро, и пальцы стали легонько ерзать по шелку, точно в поисках мышцы, за которую можно зацепиться. Ржавеющие на свалке котлы свидетельствовали, что машина приближается к дому, за поворотом мелькнет свет в окне спальни.

Она хотела было пройти прямо к себе, в маленькую душную неуютную комнату, где ей иногда разрешалось ночевать одной во время нездоровья или в опасные дни, но он удержал ее за руку. Да она, собственно, и не надеялась, что удастся улизнуть. Он сказал:

— Ты не сердись на меня, Мави?

Он всегда начинал по-детски коверкать ее имя, когда намерения у него были отнюдь не детские.

— Нет. Но... сегодня рискованно.

Единственная надежда была, что он не хочет ребенка.

— А, перестань! Я же проверил по календарю, перед тем как выехать.

— Последние два месяца у меня очень запаздывало.

Она купила однажды баллон для спринцевания, но он нашел его и выбросил вон, после чего так долго ее отчитывал за столь чудовищное и противоестественное поведение и с таким чувством распространялся о христианском браке, что лекция эта закончилась в постели.

Он положил ей руку ниже талии и чуть подтолкнул в нужном ему направлении.

— Сегодня, — сказал он, — мы рискнем.

— Но как раз сегодня-то и нельзя. Я обещаю тебе...

— Не за тем церковь соединила нас, Мави, чтобы мы избегали всякого риска. Не надо перебарщивать в надежные дни.

Она проговорила умоляющим голосом:

— Я только на минутку. У меня там все мои вещи, — ей было противно раздеваться под его шарящим взглядом. — Я ненадолго. Обещаю, что ненадолго.

— Я буду ждать тебя, — пообещал и Рикэр.

Она раздевалась, стараясь по возможности оттянуть время, потом достала пижамную кофту из-

под подушки. В комнате хватало места только для узенькой металлической кровати, стула, платяного шкафа и комода. На комодe стояла фотография ее родителей — двое счастливых пожилых супругов, которые поженились поздно и произвели на свет только одного ребенка. Там же лежала открытка от двоюродного брата с видом Брюгге и старый номер журнала «Тайм». Под комодом у нее был спрятан ключ, и она отперла им нижний ящик. В этом ящике помещался ее тайный музей: подозрительно новенький трюбник, подаренный ей в день ее первого причастия, морская раковина, программа концерта в Брюсселе, однотомное школьное издание «Истории католической церкви в Европе» Андрэ Лежена и тетрадка с ее сочинением на тему о религиозных войнах, написанным в последнем семестре (кончила она с отличными отметками). Теперь к этой коллекции присоединился и старый номер «Тайма». Портрет Куэрри прикрыл «Историю» мосье Лежена, он лег чужеродным телом среди детских сувениров. Ей вспомнились слова мадам Гэлль: «Репутация у него в некоторых отношениях весьма и весьма скверная». Она заперла ящик и спрятала ключ — мешкать дольше было небезопасно. Потом прошла через веранду в их спальню, где в глубине марлевого балдахина двуспальной кровати, под деревянным распятием лежал голый Рикэр. Он был похож на утопленника, поднятого со дна рыбацкой сетью. Густая поросль у него на животе и на ногах темнела, как водоросли. Но лишь только она вошла, он мгновенно ожил и приподнял край сетки.

— Иди, Мави, — сказал он.

Христианский брак (сколько раз ей говорили об этом ее духовные наставники!) был символом бракосочетания Христа с церковью его.

Глава вторая

Настоятель со старомодной учтивостью потушил сигару, но не успела мадам Рикэр сесть, как он машинально закурил другую. Стол у него был завален преysкурантами скобяных и хозяйственных товаров и клочками бумаги со сложнейшими вычислениями, которые каждый раз давали другой ответ, ибо математик он был плохой и производил умножение весьма запутанным способом сложения, а деление многозначных чисел — путем целой серии вычитаний. Преysкурант лежал открытым на странице, где рекламировались бидэ, которые настоятель принимал за новую модель ножной ванны. Когда мадам Рикэр вошла к нему, он был занят подсчетом, хватит ли у него денег на покупку для лепрозория штук тридцати таких ванночек. Как раз то, что нужно для лепрозных ног!

— Мадам Рикэр! Вот не ожидал! А ваш муж.

— Нет.

— И вы отважились ехать в такую даль одна?

— У меня были попутчики до Перрэнов. Там я переночевала. Мой муж просил меня отвезти вам два бочонка масла.

— Как это любезно с его стороны!

— Ах, что вы! Мы слишком мало помогаем лепрозорию.

Настоятель вдруг подумал, что можно попросить Рикэров купить несколько штук таких вот новых ножных ванн, но он не знал, сколько им будет по средствам. Человеку, не имеющему никакой собственности, всякий, у кого есть деньги, кажется богачом. Сколько же попросить? Одну ванну или все тридцать? Он стал поворачивать преysкурант к Мари Рикэр, но осторожно,

так, чтобы казалось, будто его руки просто перебирают бумаги на столе. Насколько легче было бы приступить к делу, если бы она воскликнула: «Какая интересная ванночка, это что-то новое!» — и тогда он бы подхватил...

Но Мари Рикэр поставила его в затруднительное положение, заговорив совсем о другом:

— Как подвигается ваша новая церковь, отец?

— Новая церковь?

— Мой муж говорил, что вы строите замечательную церковь — большую, как собор. И в африканском стиле.

— Откуда он это взял? Вот странно! Будь у меня такие деньги... — Сколько ни пиши на бумажках, все равно не подсчитаешь, во что обошлось бы строительство церкви — «большой, как собор»... — Будь такие деньги, мы бы построили здесь сто домов и в каждом поставили бы по ножной ванне!

Он пододвинул прејскурант ближе к ней.

— Доктор Колэн никогда не простил бы мне, что я трачусь на церковь.

— Странно! Откуда же у моего мужа такие...

«А если это намек? — подумал настоятель. — Что, если Рикэры хотят финансировать?..» Трудно, конечно, поверить, что управляющий маслобойным заводом может так разбогатеть, но вдруг мадам Рикэр получила наследство? Правда, в Люке, несомненно, ходили бы толки об этом, но он ездит в город не чаще, чем раз в год. Он сказал:

— Нам еще и старая наша церковь послужит не один десяток лет. Католиков среди больных не больше половины. И стоит ли строить большую церковь, когда люди все еще ютятся по глинобитным хижинам? Наш друг Куэрри нашел способ сократить стоимость каждого домика на четверть против прежнего. До него у нас все делалось по-любительски.

— Мой муж всем говорит, что Куэрри строит здесь церковь.

— Нет, нет! Мы используем его более разумно. Строительству новой больницы тоже не видно конца. Все деньги, которые мы сможем добыть всеми правдами и неправдами, пойдут на оборудование нового больничного корпуса. Вот я как раз просматриваю прејскурант...

— А где сейчас мосье Куэрри?

— Наверно, у себя, работает, а может, где-нибудь с доктором.

— Две недели назад у губернатора только и было разговоров что о нем.

— Бедный мосье Куэрри!

Черный малыш, совсем крошечный, не постучавшись, отворил дверь и появился в комнате, точно клочок густой тени из ослепительного сияния полдня. На нем ничего не было, и маленький крантик, как стручок, болтался у него под вздутым животом. Он выдвинул ящик письменного стола, за которым сидел настоятель, достал оттуда конфету и удалился.

— Отзывались о нем очень лестно, — сказала мадам Рикэр. — Это верно — про его боя? Что он

заблудился в джунглях?

— Да, нечто подобное было. Я, правда, не знаю, что именно у вас рассказывали.

— Будто он пробыл с ним всю ночь и молился...

— Молился? Это не похоже на мосье Куэрри.

— Мой муж в восторге от него. Ему трудно подыскать себе достойного собеседника. Он просил меня съездить сюда и пригласить...

— Примите нашу глубокую благодарность за подарок. То, что мы сэкономим на масле, пойдет... — Он повернул страницу с бидэ еще ближе к мадам Рикэр.

— Как вы думаете, можно мне повидаться с ним?

— Дело в том, мадам Рикэр, что в эти часы он работает.

Она взмолилась:

— Мне важно сказать мужу, что я действительно передала ему приглашение.

Но в словах этих, произнесенных невыразительным голосом, мольбы не слышалось, к тому же настоятель смотрел не на нее, а в прейскурант, где были ножные ванны с каким-то непонятным ему приспособлением.

— Как вам это нравится? — спросил он.

— Что?

— Вот — ножная ванна. Я хочу заказать тридцать штук таких для больницы.

Он поднял на нее глаза, не услышав ответа, и удивился: чего же тут краснеть? Да она прехорошенькая! — мелькнуло у него в голове. Он сказал:

— Вы думаете, что...

Мари Рикэр смутилась, вспомнив двусмысленные шуточки своих более фривольных монастырских подружек.

— Это не ножная ванна, отец...

— А для чего же это?

В ее ответе можно было уловить робкие проблески юмора:

— Спросите лучше у доктора... или у мосье Куэрри.

Она заерзала на стуле, и настоятель расценил это как намек, что ей пора уезжать.

— До Перрэнов путь не близкий, дитя мое. Разрешите предложить вам чашку кофе. Или стакан вина?

— Нет, нет. Благодарю вас.

— А может быть, рюмочку виски?

После стольких лет воздержания он забыл, что в полуденную жару не пьют крепкие напитки.

— Нет, нет, спасибо. Я знаю, отец, вы очень заняты, вам не до меня, но мне бы повидать мосье Куэрри — только на одну минутку — и пригласить его...

— Я передам ему ваше приглашение, дитя мое. Обещаю, что не забуду. Сейчас запишу для памяти.

Он колебался, не зная, какой столбик цифр испортить записью «Куэрри — Рикэр». У него не поворачивался язык сказать ей, что он дал слово оберегать Куэрри от посетителей, «особенно от этого идиота и ханжи Рикэра».

— Нет, отец, не надо! Я обещала повидать его лично, а то муж скажет, что я даже не пыталась это сделать.

Голос у нее сорвался, и настоятель подумал: «Чуть-чуть не попросила у меня записку, как в школу, чтобы свалить на болезнь невыученный урок».

— Я даже не знаю точно, где он сейчас. — Настоятель сделал ударение на слове «точно», лишь бы не солгать.

— Можно, я пойду поищу его?

— Ходить по такой жаре? Нет, нет, кто же вас пустит! Что скажет ваш муж?

— Вот это меня и пугает. Он никогда не поверит, что я сделала все от меня зависящее.

Она готова была заплакать и от этого стала еще моложе, а детские слезы по всякому пустяку можно не принимать всерьез.

— Знаете что, — сказал настоятель, — я попрошу его позвонить вам по телефону... когда линия будет в порядке.

— Я понимаю, он невзлюбил моего мужа, — с грустью проговорила она.

— Дитя мое, это все ваше воображение.

Настоятель был в полной растерянности. Он сказал:

— Куэрри странный человек. Мы, собственно, его почти не знаем. Может, он и нас не любит.

— Он у вас живет. Он вас не сторонится.

Настоятель вдруг рассердился на Куэрри. Люди подарили лепрозорию два бочонка масла. Неужели трудно отплатить им за это небольшой любезностью? Он сказал:

— Подождите здесь. Я пойду посмотрю, у себя Куэрри или нет. Мы не допустим, чтобы вы разыскивали его по всему лепрозорию.

Он вышел на веранду и, свернув за угол, зашагал к комнате Куэрри. Вот комнаты отца Тома и отца Поля, отличающиеся одна от другой разве только выбором распытия да большей или меньшей степенью беспорядка; вот часовня, а вот и комната Куэрри. В ней, единственной во

всей миссии, не было никаких символических изображений; да, собственно, в ней ничего не было, даже фотографий — родного человека или родных мест. Несмотря на дневную жару эта комната показалась настоятелю холодной и сумрачной, как могила без креста. Когда он вошел, Куэрри сидел за столом, перед ним лежало письмо. Он не поднял головы.

— Я вам помешал, простите, — сказал настоятель.

— Садитесь, отец. Я сейчас дочитаю. — Он перевернул страницу и спросил: — Как вы обычно подписываете письма, отец?

— Смотря кому пишешь... Иногда «брат во Христе».

— «Toute a toi»^[26]. Я когда-то сам так подписывался: «Tout a toi». А сейчас от этого отдает невыносимой фальшью.

— К вам приехали. Я сдержал слово — отстаивал вас до последнего. Мне не хотелось вам мешать, но больше я ничего поделать не могу.

— Хорошо, что вы пришли. Сидеть наедине вот с этим мало приятно. Мне переслали сюда всю мою корреспонденцию. Откуда стало известно, где я? Неужели эту дурацкую газетенку, которая выходит в Люке, читают даже в Европе?

— Приехала мадам Рикэр. Она хочет вас видеть.

— Мадам? Слава Богу, что не мосье. — Он взял со стола конверт. — Вот, смотрите. Она даже разузнала номер почтового отделения. Какая настойчивость! Наверно, обращалась с запросом в Орден.

— Кто она такая?

— Моя бывшая любовница. Я бросил ее три месяца назад, бедняжку. Нет, это чистейшее лицемерие. Мне ее нисколько не жаль. Простите, отец. Я не хотел ставить вас в неловкое положение.

— В неловкое положение меня поставила мадам Рикэр. Она привезла нам два бочонка масла и хочет поговорить с вами.

— Стою ли я такой цены?

— Ее прислал муж.

— Это что, здешний обычай? Скажите ему, что меня этим не соблазнишь.

— Она, бедняжка, хочет передать вам его приглашение, только и всего. Может быть, вы все же выйдете к ней, поблагодарите и откажетесь? Она, по-моему, не решается ехать домой, хочет обязательно сказать мужу, что поговорила с вами лично. Не бойтесь же вы ее, в самом деле?

— Может, и боюсь. Некоторым образом.

— Вы меня извините, мосье Куэрри, но, по-моему, вы не из тех, кто боится женщин.

— А вам, отец, не приходилось видеть прокаженного, который боится ушибить пальцы, так как знает, что они уже не почувствуют боли?

— Я видел людей, которые себя не помнили от радости, когда к ним возвращалась способность чувствовать — чувствовать даже боль. Но они не боялись подпускать ее к себе на пробу.

— Есть такое явление как болевой мираж. А что это такое, спросите-ка тех, у кого ампутирована рука или нога. Хорошо, отец, ведите эту женщину сюда. С ней все же гораздо приятнее иметь дело, чем с ее мерзким супругом.

Настоятель распахнул дверь, и у порога, в ярком солнечном свете, разинув рот, стояла Мари Рикэр. У нее был такой вид, точно перед ней неожиданно щелкнули фотоаппаратом в ночном клубе и, ослепив вспышкой, заставили некрасиво зажмуриться. Она круто повернулась и зашагала прочь, туда, где стояла ее машина, и они услышали срывы мотора, который никак не хотел заводиться. Настоятель поспешил следом за ней. Дорогу ему загородили женщины, возвращавшиеся с рынка. Он вприпрыжку побежал за машиной, не вынимая сигары изо рта, в съехавшем на затылок белом тропическом шлеме, и бой Мари Рикэр с любопытством смотрел на него в боковое окно кабины, пока машина не скрылась под аркой с названием лепрозория. Назад настоятель вернулся прихрамывая, потому что зашиб большой палец на бегу.

— Ах, глупышка! — сказал он. — Почему она не осталась у меня в комнате? Могла бы переночевать у монахинь. Засветло до Перрэнгов им не доехать. Надеюсь, на ее боя можно положиться.

— По-вашему, она слышала?

— Еще бы не слышала. Вы ведь не понизили голоса, когда высказывались о Рикэре. Если человека любишь, вряд ли приятно услышать, что он кому-то несимпатичен и...

— Если его не любишь, отец, это еще неприятнее.

— Разумеется, она любит его. Он ей муж.

— Любовь не самая отличительная черта супружества, отец.

— Они оба католики.

— И католики тоже без нее обходятся.

— Она вполне достойная молодая женщина, — упорствовал настоятель.

— Да, отец. И какой же пустыней должна быть ее жизнь с этим человеком!

Он взглянул на письмо, лежавшее на столе, скользнул глазами по той жертвенной фразе, которой чаще всего пользуются в силу привычки и только изредка со смыслом — «Toute a toi». Ему вдруг подумалось, что отражение чужой боли можно почувствовать, даже когда перестанешь чувствовать свою собственную. Он положил письмо в карман: если ощутишь хотя бы, как шуршит бумага, и то слава Богу.

— Слишком далеко ее завезли от Пенделэ.

— А что такое Пенделэ?

— Не знаю... танцевальная вечеринка у подруги, молодой человек с глянцевицей простодушной физиономией, пойти к мессе вместе с родителями, может быть, уснуть на односпальной кровати.

— Люди взрослеют. Мы призваны к делам куда более сложным, чем эти.

— Да неужели?

— «Когда я был младенцем, по-младенчески мыслил».

— Что до евангельских цитат, мне, отец, за вами не угнаться, но ведь там, помнится, есть и насчет того, что если не будете как дети, то не унаследуете... Взрослеем-то мы плохо. Сложности стали чересчур уж сложными. Надо бы нам остановиться в своем развитии где-то около амебы. Нет, еще раньше — на уровне силикатов. Если вашему Богу понадобился взрослый мир, не мешало бы дать людям взрослый ум.

— Чрезмерные сложности — в большинстве своем дело наших собственных рук, мосье Куэрри.

— А если он требует от нас ясности рассудка, зачем было давать нам половые органы? Врач никогда не пропишет марихуаны для прояснения мозгов.

— Вы как будто говорили, что ничем больше не интересуетесь?

— Правильно, не интересуюсь. Я прошел через все и выбрался на другую сторону, в ничто. И тем не менее оглядываться назад мне не хочется. — Он переменял позу, и письмо чуть слышно хрустнуло у него в кармане.

— Раскаяние — это своего рода вера.

— Ну не-ет! Вы стараетесь захватить все подряд в сети вашей религии, отец, но вам не удастся присвоить все добродетели. Кротость — добродетель не христианская, так же как и самопожертвование, и милосердие, и способность каяться в грехах. У пещерного жителя, наверно, тоже наворачивались слезы на глаза, когда рядом с ним кто-нибудь плакал. А разве вам не приходилось видеть, как плачут собаки? Когда на нашей планете иссякнут последние крохи тепла и пустота вашей веры наконец-то станет явной, непременно найдется какой-нибудь блаженный из неверующих, который накроет своим телом тело другого умирающего, чтобы согреть его и продлить ему жизнь хотя бы еще на один-единственный час.

— И вы верите в это? А мне помнится, вы отказывали себе в способности любить.

— И продолжаю отказывать. Весь ужас в том что именно мое тело и накроют. И это будет, конечно, женщина. Они обожают мертвецов. У них в трюмках бывает полным-полно поминальных записочек.

Настоятель ткнул сигару в пепельницу и, не дойдя до двери, закурил другую. Куэрри крикнул ему вслед:

— Я и так далеко зашел! Уберите от меня эту особу и пусть не хнычет тут и не распинается за своего супруга! — Он с яростью ударил рукой по столу, потому что ему сразу вспомнилось: распятие, стигматы...

Когда настоятель вышел, Куэрри крикнул Део Грациаса. Бой появился на своих трех беспалых ногах. Он заглянул в умывальный таз, не надо ли его опростать.

— Нет, я не за тем тебя звал, — сказал Куэрри. — Сядь. Мне надо кое о чем поговорить с тобой.

Део Грациас положил костыль на пол и присел на корточки. Беспалому даже садиться трудно.

Куэрри зажег сигарету и сунул ее Део Грациасу в рот. Он сказал:

— В следующий раз когда ты соберешься уходить, возьми меня с собой?

Слуга ничего ему не ответил. Куэрри сказал:

— Можешь не отвечать. Я знаю, не возьми. Скажи мне, Део Грациас, какая там была вода? Как вот эта большая река?

Део Грациас покачал головой.

— Как озеро в Бикоро?

— Нет.

— Какая же, Део Грациас?

— Она падала с неба.

— Водопад?

Но Део Грациасу — жителю приречной равнины и джунглей — это слово ничего не говорило.

— Ты, совсем маленький, сидел за спиной у матери. А другие дети там были?

Он покачал головой.

— Скажи мне, что там случилось с вами?

— Nous etions heureux^[27], — ответил Део Грациас.

Часть IV

Глава первая

1

В ранней утренней прохладе Куэрри и доктор Колэн сидели на ступеньках больничной веранды. Каждый ее столб отбрасывал тень на землю, и в каждой такой полоске тени ютился кто-нибудь из больных. У алтаря через дорогу настоятель служил воскресную мессу. Боковых стен у церкви не было, если не считать кирпичной решетки в защиту от солнца, сквозь которую молящиеся были видны Куэрри и Колэну по частям, точно разрезная картинка-загадка: монахини на стульях в первом ряду, а позади них — прокаженные на низких длинных скамейках из камня, потому что камень проще и легче дезинфицировать, чем дерево. Издали, с веранды, все это выглядело весело и ярко: солнце золотой рябью играло на белых одеяниях монахинь и пестрых женских платьях. Когда женщины опускались на колени, обручи у них на бедрах позвякивали, как четки, а расстояние и кирпичная кладка излечивали все увечья, скрывая изуродованные ноги. Позади доктора на верхней ступеньке сидел старик, страдающий слоновой болезнью, мошонка у него свисала на ступеньку ниже. Куэрри и Колэн переговаривались вполголоса, чтобы не мешать церковной службе. Шепот, шорохи, звяканье, треньканье, неторопливые движения, смысл которых почти ускользнул у них из памяти, потому что очень уж давно они отошли от всего этого.

— Неужели его нельзя оперировать? — спросил Куэрри.

— Нет, рискованно. Сердце вряд ли выдержит наркоз.

— И что же, так ему и таскаться с этой штукой до самой смерти?

— Да. Но она не очень тяжелая. Какая же все-таки несправедливость, а? Вдобавок к лепре страдать еще и этим.

Из церкви донесся дружный вздох, шорох — прихожане сели. Доктор сказал:

— Я не я буду, а выклянчу когда-нибудь у кого-нибудь деньги и куплю несколько кресел на колесах для самых тяжелых больных. Вот этому, конечно, понадобится специальное. А может знаменитый католический архитектор сконструировать кресло для больного со слоновыми утолщениями яичек?

— Хорошо, будет вам чертеж, — сказал Куэрри.

В церкви через дорогу слышался голос настоятеля. Он читал проповедь на смеси французского с креольским, в речь его вплетались даже фламандские фразы и еще какие-то слова, видимо, на языке монго или другого речного племени.

— Истинно говорю вам: мне было стыдно, когда тот человек сказал: «Вы, слуги Ису, клистиане, все бессовестные воры — здесь крадете, там крадете, только и знаете, что красть. Не деньги вы крадете, нет, нет! И не так, чтобы залезть в хижину Тома Оло и унести его новый радиоприемник. И все равно вы воры. Худшие из всех воров. Увидите человека, который живет с одной женой и не бьет ее и ходит за ней, когда она мучается после тех лекарств, что дают в больнице, увидите и говорите: „Вот она, клистианская любовь!“ Идете в суд и слышите, как добрый судья говорит мальчишке, который стащил у белого человека сахар из буфета: „Ты плохой мальчишка. Наказывать я тебя не стану, но смотри в другой раз не попадайся мне. И забудем о сахаре“. И, услышав это, вы говорите: „Вот оно, клистианское милосердие!“ Но вы воры, вы бесстыжие воры, когда говорите так, ибо вы крадете любовь у человека и милосердие у человека. Но вот человек истекает кровью и умирает, потому что ему воткнули нож в спину, и почему же никто из вас не скажет: „Вот она, клистианская злоба“?»

— Да он, кажется, отвечает на то, что я ему однажды наговорил, — сказал Куэрри с чуть заметным подергиванием губ, в котором Колэн начинал теперь узнавать зародыш смешка. — Только у меня все это было как-то по-другому выражено.

— Почему же, когда Анри Окапа купил новый велосипед и кто-то пришел и сломал тормоз на его велосипеде, почему никто из вас не скажет: «Вот она, клистианская зависть!»? Вы как тот вор, что крадет только хорошие плоды, а плохие оставляет гнить на дереве. Ну что ж, ладно. Меня тот человек называет самым главным воров, а я говорю ему: ты очень ошибаешься. Каждый может защищать себя перед судьей, который его судит. И вы — все, кто сейчас в церкви, вы мои судьи, и я перед вами защищаюсь.

— Давненько я не слушал проповедей, — сказал доктор Колэн. — Вспоминается детство, томительная скука. Верно?

— Вы молитесь Ису, — говорил настоятель. Он по привычке скривил губы, точно перекладывая сигару из одного угла рта в другой. — Но Ису не только праведник. Ису — Бог, и он, Ису, сотворил мир. Когда вы слагаете песню, вы сами в этой песне, когда вы печете хлеб, вы сами в этом хлебе, когда вы зачинаете ребенка, вы сами в этом ребенке, а Ису создал вас всех, и

потому он сам в каждом из вас. Когда вы любите, это он, Ису, любит, когда вы смиляетесь над кем, это его милосердие. Но когда вы ненавидите кого и завидуете, это не Ису, ибо все, что он сотворил, все благо. Где дурное, там ничего нет. Ненависть — это когда нет любви. Зависть — это когда нет справедливости. Там ничего нет, там пустота вместо Ису.

— Это еще требует доказательств, — сказал доктор Колэн.

— А я говорю вам, что если человек любит, значит, он клистианин. Если человек жалеет кого, значит, он клистианин. Уж не кажется ли вам, что, кроме вас, кроме тех, кто ходит в церковь, в поселке больше нет клистиан? Возле колодца, позади дома Мари Акимбу, живет знахарь, он молится Нзамбе и делает плохие лекарства. Он поклоняется ложному Богу, но однажды заболел один мальчик, а его отец и мать лежали в больнице, и этот знахарь не взял с них денег. Лекарство он дал мальчику плохое, но денег не взял. Он заставил большого Бога похлопотать за мальчика у Нзамбе, но денег не взял. И я говорю вам: значит, тогда он был клистианин, и такой клистианин лучше, чем тот, кто сломал велосипед Анри Окапа. Он не верит в Ису, но он был клистианин. Я не вор, я не украл у этого знахаря его доброту, чтобы одарить ею Ису. Я отдаю Ису только то, что он сам сотворил. Ису сотворил любовь, он сотворил милосердие. У каждого человека есть что-нибудь, что сотворил Ису. Поэтому каждый человек хоть немножко, а клистианин. Тогда какой же я вор? Пусть человек будет очень дурной, и все-таки он хоть раз в жизни, а докажет, что Господь вложил ему добро в сердце.

— Так, пожалуй, мы с вами тоже сойдем за христиан, — сказал Куэрри. — Вы христианской веры, Колэн?

— Не это меня интересует, — сказал Колэн. — Вот если бы христиане добились, чтобы кортизон подешевел, это другое дело. Ну, пошли.

— Терпеть не могу упрощений, — сказал Куэрри и не поднялся со ступенек.

Настоятель продолжал:

— Я не говорю вам: делайте добро во имя любви к Богу. Это очень трудно. Для многих из нас непосильно. Не легче ли сжалиться, потому что плачет ребенок, или любить, потому что приглянулась девушка или приглянулся юноша. Не думайте, что это плохо, это хорошо. Только помните и не забывайте: милосердие ваше и любовь, которую вы чувствуете, даровал вам Господь. Не давайте им лежать втуне, и, может быть, если вы помолитесь, прочтаете молитву, вам будет легче сжалиться во второй раз и в третий...

— И полюбить вторую женщину, а за ней третью, — сказал Куэрри.

— А что же? Конечно! — сказал доктор.

— Милосердие... любовь... — сказал Куэрри. — Неужели ему не случалось видеть, как убивают своей любовью, своим милосердием? Когда слышишь эти слова из уст священника, так и кажется, что вне стен ризницы и вне молитвенных собраний они теряют всякий смысл.

— А по-моему, он старается втолковать как раз обратное.

— Что же он хочет? Чтобы мы винили Бога за нашу любовь. По-моему, винить надо человека. Если Бог есть, пусть он, по крайней мере, будет существом, ничем не запятанным. Пойдемте, не то вас тут обратят на путь истинный и вы, сами того не подозревая, станете христианином.

Они встали и пошли к амбулатории мимо церкви, где читали «Верую».

— Бедняга, — сказал Колэн. — Жизнь у него не легкая, а благодарности он почти не видит. Стараются помочь всем и каждому, чем только можно. Если я слышу у него тайным христианином, мне же лучше, правда? Не каждый священник согласится работать рука об руку с атеистом.

— Неужели общение с вами не убедило его, что умный человек может построить свою жизнь без Бога?

— Мне жить легче, чем ему. Распорядок моего дня установлен. Я узнаю, когда человек выздоравливает, по отрицательным бактериоскопическим реакциям. Для добрых деяний таких анализов не существует. Что вас заставило, Куэрри, пойти за вашим боем в джунгли?

— Любопытство. Гордость. Только не христианская любовь, поверьте мне.

Колэн сказал:

— Все равно, в ваших словах так и слышится, что вы потеряли что-то дорогое, любимое. А я ничего не терял. Я расположен к ближним своим. Расположение — вещь куда более безопасная, чем любовь. Оно не требует жертв. А кто ваша жертва, Куэрри?

— Теперь их нет. Теперь со мной все в порядке... Я выздоровел, Колэн, — добавил он не очень уверенно.

2

Отец Поль положил себе порцию так называемого творожного суфле, потом налил стакан воды на запивку. Он сказал:

— Куэрри хитрый, пошел завтракать к доктору. Нельзя ли повлиять на сестер, чтобы они хоть немножко разнообразили дежурные блюда? Как-никак сегодня воскресенье, скромный день.

— У них это считается лакомством, — сказал настоятель. — Они думают, что мы всю неделю о нем мечтаем. Не будем разочаровывать их, бедняжек. Ведь сколько яиц уходит на это суфле.

Готовили на миссионеров монахини, и еду приходилось носить в миссию за четверть мили по самому солнцепеку. Монахиням и в голову не приходило, что такое путешествие оказывается гибельным для суфле, омлетов и даже для послеобеденного кофе.

Отец Тома сказал:

— По-моему, Куэрри равнодушен к еде.

Отец Тома был единственный в лепрозории, с кем настоятель чувствовал себя не совсем свободно: в нем все еще оставалась семинарская скованность и взвинченность. Он окончил семинарию раньше всех своих здешних братьев, но был словно обречен на вечную несчастливую юность. Его стесняло общество людей, которые успела повзрослеть и интересовались не столько ловлей душ человеческих, сколько работой электростанции и качеством кирпича. Души подождут. У них впереди вечность.

— Да, он неприхотливый нахлебник, — сказал настоятель, чуть отклоняясь от курса, которым, как он подозревал, хотелось следовать отцу Тома.

— Куэрри замечательный человек, — сказал отец Тома, поворачивая на прежнее направление.

— Теперь у нас хватит денег на покупку электрического вентилятора для родильной палаты, — ни с того, ни с сего заявил настоятель.

— Дайте срок, доживем и до кондиционированного воздуха, — сказал отец Жан. — И до аптекарского магазина и до свеженьких киножурналов с портретами Брижит Бардо [28].

Отец Жан был высокий, бледный, со впалой грудью, борода у него торчала клоками, точно неподстриженная живая изгородь. Когда-то давно, до вступления в Орден, отец Жан славился как блестящий богослов, но теперь он старательно культивировал в себе любовь к кино, точно это могло помочь ему зачеркнуть его сомнительное прошлое.

— А по-моему, к воскресному завтраку лучше всего яйцо всмятку, — сказал отец Поль.

— Вряд ли оно вам придется по вкусу — тухлое, — сказал отец Жан, подкладывая себе суфле; несмотря на свою испитую физиономию, он отличался чисто фламандским аппетитом.

— Смотрели бы за курами получше, — сказал отец Жозеф, — вот яйца бы и не тухли. Я дам им рабочих, пожалуйста, пусть построят курятники, тогда куры и нестись будут лучше. Провести в каждый курятник электричество из их дома проще простого.

Брат Филипп заговорил впервые. Он не любил вмешиваться в разговоры людей, которые, по его понятиям, были куда более далеки от всего мирского, чем он сам.

— Электрические вентиляторы, курятники. Смотрите, отец, выдержит ли наше динамо такую нагрузку?

Настоятель чувствовал, что его сосед по столу, отец Тома, весь кипит. Он решил действовать тактично:

— Как ваш новый класс, отец? Все ли там есть, что нужно?

— Все есть, кроме учителя, который хоть мало-мальски разбирался бы в вопросах веры.

— Ну, это не первостепенное. Лишь бы научил ребят азбуке.

— Казалось бы, катехизис знать важнее, чем азбуку.

— Сегодня звонил Рикэр, — сказал отец Жан, придя на выручку настоятелю.

— Что ему нужно?

— Поговорить с Куэрри, конечно. На сей раз о каком-то англичанине, но, в чем дело, передать через меня отказался. Грозит приехать к нам, когда паромы опять будут ходить. Я попросил его захватить с собой какие-нибудь киножурналы, но он сказал, что ничего такого не читает. Кроме того, ему понадобилось «О предопределении» отца Гарригу-Леггранжа.

— Иной раз я почти жалею, — сдержанно проговорил настоятель, — что мосье Куэрри приехал к нам.

— А по-моему, — сказал отец Тома, — мы должны радоваться любому маленькому неудобству, которое он нам причиняет. Ведь жизнь у нас здесь не очень бурная.

Кусок суфле так и остался нетронутым у него на тарелке. Он скатал тугой катышек из хлеба и

проглотил его, запив водой, как пилюлю.

— Пока Куэрри здесь, нас не оставят в покое. Куэрри ведь не только знаменитость. Он человек глубоко верующий.

— Что-то я этого не замечал, — сказал отец Поль. — На мессе его сегодня не было.

Настоятель закурил очередную сигару.

— Нет, был. И я свидетель, что он не сводил глаз с алтаря. Сидел он через дорогу, вместе с больными, и, по-моему, это ничуть не хуже, чем присутствовать на богослужении, восседавая в первом ряду, спиной к прокаженным.

Отец Поль открыл было рот, чтобы возразить отцу Тома, но настоятель предостерегающе подмигнул ему.

— Ну что ж, вы, по крайней мере, милостивы к нашему гостю. — Он положил сигару на край своей тарелки и, встав, прочел благодарственную молитву. Потом перекрестился и снова взял сигару. — Отец Тома, — сказал он, — вы не могли бы уделить мне минуточку-другую?

Он провел отца Тома к себе и усадил его в единственное в комнате кресло — оно предназначалось для посетителей. Отец Тома не сводил с него глаз, сидя навтыжку, точно кобра, подстерегающая мангусту.

— Сигару, отец?

— Вы же знаете, что я не курю.

— Да, конечно. Виноват. У меня в мыслях был кто-то другой. Вам неудобно в этом кресле? У него, наверно, продавлены все пружины. Пружинная мебель в тропиках — полная нелепость, но это кресло подарили нам вместе с прочей рухлядью, и...

— Мне удобно, не беспокойтесь.

— Меня очень огорчает, что вы недовольны вашим учителем. Теперь, когда мы открыли и третью группу для мальчиков, хорошего найти не так-то легко. У монахинь это дело поставлено лучше.

— Ну что ж, если вас устраивает такая учительница, как Мари Акимбу...

— Мать Агнеса говорит, что она очень старается.

— Да, старается — заводит каждый год по ребенку от разных мужей. Ей разрешают качать люльку во время уроков, а, по-моему, это недопустимо. Она опять беременна. Недурной пример для других!

— Ну что ж поделаешь! *Autres pays, autres mœurs* [29]. Мы здесь затем, чтобы помогать людям, а не предавать их анафеме, отец, и вряд ли нам подобает указывать сестрам. Они присмотрелись к этой молодой женщине, а мы — нет. Вы не забывайте, что здесь редкий человек знает, кто его отец. Дети принадлежат матерям. Может быть, поэтому здешний народ и отдает предпочтение нам и матери Божией, а не протестантам. — Настоятель замялся, подыскивая слова. — Вы... вы, отец, живете у нас... уже больше двух лет?

— Через месяц исполнится ровно два года.

— По-моему, вы мало едите. Это суфле, конечно, не слишком соблазнительно...

— Нет, отчего? Суфле как суфле. Просто я назначил себе сегодня постный день.

— Надеюсь, с согласия вашего духовника?

— На такой короткий срок не стоило его спрашивать, отец.

— Ну что ж, день вы выбрали правильно, поскольку сегодня суфле, но знаете, европейцы плохо переносят здешний климат, особенно на первых порах. Мы начинаем привыкать к нему лет через шесть, когда подходит время отпуска. Мне иной раз становится страшно при мысли о поездке домой. А первые годы лучше... лучше не перенапрягаться.

— А мне не кажется, что я перенапрягаюсь, отец.

— Первейший наш долг — выжить, уцелеть, даже если ради этого приходится давать себе некоторые послабления. В вас сильно развит дух жертвенности, отец. Качество само до себе замечательное, но это не всегда то, что требуется на поле битвы. Хороший солдат никогда не заигрывает со смертью.

— Вот не думал, что я...

— Крушение надежд — кто этого не переживал? Несчастливая Мари Акимбу... Что ж делать? Надо пользоваться тем людским материалом, который у нас под руками. Вряд ли в некоторых приходах Льежа вы нашли бы нечто лучшее, хотя иногда мне кажется, что там вам было бы легче. Африканская миссия — это не каждому по силам. Если человек чувствует себя здесь не на месте, надо хлопотать о переводе, ничего зазорного в этом нет. Как вы спите, отец?

— Мне сна хватает.

— Не сходить ли вам к доктору Колэну? Иной раз какая-нибудь таблетка бывает так кстати и так поможет, просто диву даешься.

— Отец, почему вы настроены против мосье Куэрри?

— Я? Не замечал этого за собой.

— Кто другой похоронил бы себя здесь заживо и стал бы возиться с нашей больницей? Ведь он пользуется всемирной славой, хотя отец Поль о нем и понятия не имел.

— Мне незачем доискиваться до причин его поступков, отец Тома. Я принимаю эту помощь и надеюсь, никто не обвинит меня в неблагодарности.

— А я доискиваюсь. Я говорил с Део Грациасом. И надеюсь, меня хватило бы на такой поступок — пойти ночью в заросли, искать там пропавшего слугу... хотя, не знаю, не могу ручаться...

— Вы боитесь темноты?

— Да. И не стыжусь признаться в этом.

— В таком случае от вас бы потребовалось еще большее мужество. Чего боится мосье Куэрри, я пока не выяснил.

— Разве это не героический поступок?

— Да будет вам! Человек без сердца и человек без страха одинаково не внушают мне доверия. Страх может уберечь нас от многого. Я, конечно, не хочу сказать, что мосье Куэрри...

— Разве бессердечный человек мог бы пробыть там возле своего слуги всю ночь и молиться за него?

— Я знаю, в городе все об этом твердят, но вот молился ли он? Сам мосье Куэрри ничего такого доктору не рассказывал.

— Я спросил Део Грациаса. Он сказал, да. Я спросил его, какие молитвы? «Аве Мария»? Он сказал, да.

— Отец Тома, когда вы поживете подольше в Африке, вы убедитесь, что африканцу нельзя задавать вопрос в такой форме, которая допускает утвердительный ответ. Они говорят «да» из вежливости. Но на это никак нельзя полагаться.

— Мне кажется, что, прожив здесь два года, я могу разобрать, лжет африканец или нет.

— Это не ложь. Отец Тома, я прекрасно понимаю, почему Куэрри овладел вашими мыслями. Вы с ним оба люди крайностей. Но нам, в нашей жизни, лучше обходиться без героев — то есть без живых героев. Хватит с нас и святых.

— Значит, при жизни святых не бывает? Так вас понимать?

— Нет, зачем же? Но не будем торопиться, пусть сначала их признает церковь. Так мы уберем себя от горьких разочарований.

3

Отец Тома стоял у двери своей комнаты, глядя сквозь густую проволочную сетку на плохо освещенную улицу лепрозория. На столе позади него горела заранее зажженная свеча, и ее бледный огонек чуть виднелся под свисавшей с потолка электрической лампочкой без абажура. Через пять минут свет выключат. Этого он всегда боялся, молитвы не помогали залечивать темноту. Слова настоятеля снова разбудили в нем тоску по Европе. Льеж — город мерзкий, жестокий, но нет там такой минуты в ночи, когда, подняв штору, человек не увидел бы отблеска света на противоположной стене, а то и запоздалого прохожего, спешащего домой. Здесь же движок выключают в десять часов вечера, и тогда остается одно: верить слепой верой, что джунгли не подступили к порогу комнаты. Иногда ему казалось, будто он слышит, как листья шуршат, задевая москитную сетку на двери. Он взглянул на часы — осталось четыре минуты.

Он признался настоятелю, что боится темноты, а настоятель отмахнулся от его страхов, как от сущего пустяка. Ему мучительно хотелось отвести с кем-нибудь душу, но с братьями по Ордену это почти невозможно, все равно что солдату признаться в трусости своему однополчанину. Нельзя же сказать отцу настоятелю: «Я каждую ночь молю Бога, чтобы меня не вызвали к кому-нибудь, кто умирает в больнице или у себя на кухне, и чтобы мне не пришлось зажигать фонарик на велосипеде и ехать куда-то в темноту». Несколько недель назад ночью умер один старик, но тогда к нему поехал отец Жозеф, и покойник сидел в расшатанном шезлонге, с каким-то фетишем на коленях, изображающим Нзамбе, и с медалькой на шнурке вокруг шеи. Условное отпущение грехов отец Жозеф дал при свете велосипедного фонарика, так как свечей поблизости не нашлось.

Он был уверен, что настоятель завидует Куэрри. Его собратья-миссионеры забивают свою жизнь всякими мелкими заботами, и им так легко говорить между собой о стоимости ножных ванн, неполадках на электростанциях, простоях на кирпичном заводе, а вот он ни с кем не может поделиться тем, что его волнует. Он завидовал счастливым мужьям, у которых наперсница всегда наготове — и в постели, и за столом. Отец Тома состоял в браке с церковью, а церковь отвечала на его признания одними лишь штампами исповедальни. Он вспомнил, что даже в семинарии духовник всякий раз останавливал его, когда ему случалось преступить границы общепринятого в своих проблемах. Слово «сомнения», как дорожный знак, преграждало путь мысли, куда бы она ни свернула. «Мне надо говорить, надо говорить!» — беззвучно крикнул отец Тома, когда огонь погас везде и туканье движка смолкло. В темноте веранды слышались шаги, кто-то прошел мимо комнаты отца Поля и прошел бы мимо его собственной, если бы он не спросил:

— Это вы, мосье Куэрри?

— Да.

— Не зайдете ли ко мне на минутку?

Куэрри отворил дверь и ступил в маленький круг света. Он сказал:

— Я втолковывал настоятелю разницу между бидэ и ножной ванной.

— Присядьте, пожалуйста. Я так рано не могу заснуть, а читать при свечке зрение не позволяет.

Уже в одной этой фразе отец Тома сказал о себе Куэрри больше, чем когда-либо говорил настоятелю, так как он знал, что настоятель охотно даст ему электрический фонарь и разрешит читать сколько угодно после того, как потушат свет, а это только выставит напоказ его слабости. Куэрри поискал глазами, куда сесть. В комнате был всего один стул, и отец Тома потянулся откинуть тюлевый полог над кроватью.

— А почему бы нам не пойти ко мне? — спросил Куэрри. — У меня виски.

— Я сегодня пощусь, — сказал отец Тома. — Пожалуйста, берите стул. А я сяду на кровать.

Огненный язычок свечки тянулся ровно вверх, точно карандаш, сужаясь к коптящему кончику.

— Я надеюсь, вы всем у нас довольны? — сказал отец Тома.

— Ко мне здесь очень хорошо относятся.

— С тех пор как я приехал сюда, вы первый обосновались в лепрозории надолго.

— Вот как?

Длинный узкий нос отца Тома как-то странно загибался в сторону — точно он принюхивался к еле уловимому запаху.

— Здесь требуется время, чтобы обжиться, — Он рассмеялся нервным смешком. — Я, кажется, все еще не обжился.

— Я вас понимаю, — машинально проговорил Куэрри за неимением лучшего ответа, но для отца Тома бром этой ничего не значащей фразы был как глоток вина.

— Да, вы все понимаете. Мне, иной раз кажется, что миряне обладают большим пониманием, чем священники. И зачастую, — добавил он, — и большей верой.

— Вот уж чего про меня не скажешь! — ответил Куэрри.

— Я ни с кем этим не делился, — проговорил отец Тома таким тоном, точно вручал Куэрри какую-то драгоценность, делая его на веки вечные своим должником. — После окончания семинарии я часто думал, что меня может спасти только мученичество... конечно, если смерть придет ко мне до того, как я потеряю последние крохи веры.

— Да вот не приходит она, — сказал Куэрри.

— Я хотел поехать в Китай, но меня туда не пустили.

— Ваша работа нужна здесь, наверно, не меньше, чем там, — Куэрри сдавал свои ответы быстро и машинально, точно карты.

— Обучать грамоте? — Отец Тома подвинулся на кровати, и складка полога от москитов, скользнув вниз, закрыла ему лицо, как подвенечная фата или сетка пчеловода. Он откинул ее, но она опять сползла вниз, точно неодушевленные предметы тоже умеют выбирать самые подходящие минуты, чтобы помучить человека.

— Ну что ж, пора спать, — сказал Куэрри.

— Вы извините меня. Я вас задерживаю. Надоедаю вам.

— Нет, нисколько, — сказал Куэрри. — К тому же у меня бессонница.

— Вот как? Это все жара. Я сплю четыре-пять часов в сутки, не больше.

— Могу предложить вам снотворное.

— Нет, нет, благодарю вас. Надо приучаться и без них. Ведь я послан сюда Господом.

— Но вы же добровольно приехали?

— Да, конечно, но не будь на то его воли...

— Может, и на то будет его воля, чтобы вы приняли таблетку нембутала? Я принесу.

— Нет, мне будет лучше, если я просто поговорю с вами. Ведь там у нас не поговоришь — о серьезных вещах. Может быть, я отрываю вас от работы?

— Я при свечах не работаю.

— Я вас скоро отпущу, — сказал отец Тома, слабо улыбнувшись, и замолчал. Пусть джунгли подступают к самому порогу, в кой-то веки он не один! Куэрри сидел, зажав руки между колен, и ждал. Вокруг огонька свечи с жужжаньем вился москит. Опасное желание выговориться росло в отце Тома, точно напор сладострастия. Он сказал:

— Если бы вы знали, как иной раз бывает нужно поговорить с верующим, чтобы укрепить веру в самом себе.

Куэрри сказал:

— Для этого у нас есть отцы миссионеры.

— Мы говорим между собой только о динамо-машине и о наших школах, — сказал он. — Мне иногда кажется, что, если я здесь останусь, вере моей придет конец. Вы меня понимаете?

— Да, понимаю. Но, по-моему, об этом вам следует побеседовать с вашим духовником, а не со мной.

— Део Грациас говорил с вами? Говорил?

— Да. Немножко.

— У вас дар вызывать людей на откровенность. Рикэр...

— Помилуй Бог! — Куэрри беспокойно заерзал на жестком стуле. — То, что я мог бы вам сказать, не спасет вас. Можете положиться на мое слово. Я... я неверующий.

— Вы само смирение! — сказал отец Тома. — Мы все это заметили.

— Если бы вы знали меру моей гордыни...

— Гордыня, которая строит церкви и больницы, не так уж плоха.

— Не делайте из меня контрфорса вашей веры, отец. Я окажусь самой ненадежной ее точкой. Мне не хочется еще больше нарушать ваш душевный покой, но... у меня ничего для вас нет... ничего. Я даже никогда не назвал бы себя католиком, разве только если бы попал в армию или в тюрьму. Я католик по анкетным данным, вот и все.

— Нас обоих одолевают сомнения, — сказал отец Тома. — И, может, у меня их больше, чем у вас. Они приходят ко мне даже в алтаре, когда я держу Святые дары вот этими руками.

— Я давно покончил со всякими сомнениями. Если говорить начистоту, отец, я не верю в Бога. Совсем не верю. Я разделался с верой... как с женщинами. У меня нет ни малейшего желания обращаться в неверие других и вообще нарушать чей-то покой. Я предпочел бы держать рот на замке, если вы только дадите мне такую возможность.

— Вы даже не представляете себе, сколько мне дала беседа с вами! — взволнованно сказал отец Тома. — Здесь нет никого, с кем я мог бы поговорить. А ведь иной раз как бывает нужен человек, страдающий тем же, что и ты сам!

— Но вы меня не поняли, отец.

— Неужели вы сами не чувствуете, что, может быть, Господь осенил вас своей милостью в пустыне? Может быть, вы идете по стопам Иоанна Крестителя в *posche oscura*^[30]?

— Как вы далеки от истины! — сказал Куэрри, то ли возмущенно, то ли в полном недоумении разводя руками.

— Я за вами наблюдал, — сказал отец Тома. — Я умею судить о людях по их поступкам.

Он наклонился всем телом вперед, так что его лицо приблизилось к лицу Куэрри, и Куэрри уловил запах гвоздичного масла, которое отец Тома употреблял против moskitov.

— Впервые со дня приезда сюда я чувствую, что могу принести кому-то пользу. Когда у вас возникнет потребность в исповеди, помните, что я здесь, с вами.

— Если мне и придется когда-нибудь исповедоваться, — сказал Куэрри, — то разве лишь на допросе у судьи.

— Ха-ха! — Отец Тома подхватил шутку на лету и сунул ее за пазуху сутаны, точно мячик, конфискованный у школьника. Он сказал: — Вот вы говорите — сомнения. У меня они тоже есть, уверяю вас. А что, если мы с вами вспомним философскую аргументацию? Это нам поможет.

— Мне, отец, ничто не поможет. Такую аргументацию разобьет в пух и прах любой шестнадцатилетний школяр. Да и вообще я ни в какой помощи не нуждаюсь. Простите меня за резкость, но я не хочу верить, отец. Я вылезился.

— Тогда почему же в вас, как ни в ком другом, я черпаю самую суть веры?

— Это ваше собственное вероощущение, отец. Вы ищете веру и, видимо, обретаете ее. А я не ищу. Все то, что я постиг когда-то, а потом потерял, мне больше не нужно. Если бы вера была деревом и оно росло бы в конце вот этой улицы, клянусь вам, я бы шагнул по ней не ступил. Мне не хочется оскорблять ваши чувства, отец. Будь я в силах помочь вам, я бы помог. Сомнения причиняют вам боль, но ведь это она, вера, болит в вас, и я желаю вам победы над самим собой.

— Значит, вы все, все понимаете? — сказал отец Тома, и Куэрри, доведенный до отчаяния, невольно поморщился. — Не сердитесь, может быть, я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Такого понимания мне не приходилось встречать «во всем Израиле», если можно назвать так нашу общину. Я вам стольким обязан. Может быть, мы еще поговорим — вот так же вечером. О разных проблемах — ваших и моих.

— Может быть, но...

— И помолитесь за меня, мосье Куэрри. Ваша молитва дорога мне.

— Я не молюсь.

— А Део Грациас говорил совсем другое, — сказал отец Тома, выдавив из себя улыбку — темную, приторную и клейкую, как лакричный леденец. Он сказал: — Есть молитвы внутренние, молитвы безмолвные. А люди доброй воли умеют молиться и бессознательно. Одна ваша мысль может стать молитвой в глазах Господа. Думайте обо мне хоть изредка, мосье Куэрри.

— Непременно.

— Если бы я мог оказать вам такую же помощь, какую оказали мне вы!

Он помолчал, словно ожидая, что сейчас его о чем-то попросят, но Куэрри только поднял руку и отвел от лица липкую паутину, которую паук свесил с потолка между ним и дверью.

— Сегодня ночью я буду спать крепко, — угрожающе проговорил отец Тома.

Глава вторая

1

Епископская баржа раза два в месяц доставляла в лепрозорий тяжелые грузы, но случалось и так, что неделя убегала за неделей, а она все не появлялась. Приходилось терпеть и ждать. Может быть, вести о своей маломощной конкурентке привезет вместе с почтой капитан парохода ОТРАКО? Мало ли что случается в пути — подводная коряга пробьет ей днище, или она сядет на мель, или же налетит на упавшее дерево и сломает руль, а может быть, капитан лежит в лихорадке или же перешел на преподавание греческого в семинарии по распоряжению епископа, а другого священника ему взамен епископ еще не подыскал. Капитанская должность была у миссионеров не в почете. Тут не требовалось ни знания навигации, ни даже механики, потому что и в машинном отделении и на капитанском мостике всем фактически распоряжался помощник капитана из африканцев. Что ни рейс, то месяц одиночества на реке, у каждого причала поиски грузов, еще не зафрахтованных компанией ОТРАКО. Такую работу нельзя было и сравнить с назначением в городской собор и даже в семинарию в джунглях.

Уже наступили сумерки, когда обитатели лепрозория вдруг услышали колокол давным-давно ожидавшейся баржи. Колэна и Куэрри его звон застал на докторской веранде, когда они только что налили себе по первому за вечер стакану виски.

— Наконец-то! — сказал Колэн, сделав последний глоток. — Если бы только привезли новый рентгеновский аппарат!

В сумерках на длинной просеке раскрылись чашечки белых цветов, повсюду разводили огонь в очагах, на которых будут стряпать ужин, и великодушная тьма наконец-то спускалась над уродами и калеками. Ночные стычки еще не начались, и вокруг стояла такая тишина, что ее можно было потрогать, как лепесток, или вдохнуть, как запах горящих поленьев. Куэрри сказал Колэну:

— А вы знаете, мне хорошо здесь.

Он слишком поздно спохватился: в сладостной вечерней прохладе эти слова сорвались у него с языка как признание.

2

— Я помню, когда вы к нам приехали, — сказал Колэн. — Мы с вами встретились вот на этой дороге, и я спросил, надолго ли вы к нам. А вы ответили — помните?

Но Куэрри молчал, и Колэн понял, что он уже пожалел о своих словах.

Белая баржа медленно огибала излучину реки; на носу у нее стоял зажженный фонарь, в салоне горела калильная лампа. Черная фигура, совершенно обнаженная, если не считать набедренной повязки, покачивалась на понтоне с канатом в занесенной руке, готовясь бросить конец на берег. На веранде, как мотыльки вокруг банки с патокой, толпились миссионеры в белых сутанах, а когда Колэн оглянулся, он увидел огонек настоящей сигары, спешившей той же дорогой, что и они.

Колэн и Куэрри остановились на самом верху берегового откоса. Когда тарахтенье мотора утихло, другой африканец из команды прыгнул с понтона в реку и поплыл к берегу. Он поймал канат, закрепил его вокруг большого камня, и тогда накренившееся судно остановилось у

причала. На берег перебросили сходни, и по ним двинулась женщина с двумя живыми индюшками на голове; она оправляла на ходу свое одеяние, разматывая и снова затягивая на бедрах кусок яркой ткани.

— Большой мир к нам пожаловал, — сказал Колэн.

— Что это значит?

Капитан замахал им рукой из окна салона. Дверь в епископскую каюту была затворена, но сквозь москитную сетку оттуда просвечивал неяркий огонь.

— Как знать, что баржа нам привезет. Ведь вы тоже с ней пожаловали.

— У них, кажется, пассажир в каюте, — сказал Куэрри.

Капитан продолжал жестикулировать, выглядывая в окно, его рука призывала их подняться на баржу.

— Что он, голос потерял? — сказал настоятель, подойдя к ним, потом сложил чашечкой руки у рта и что есть силы крикнул: — Капитан! Почему вы так задержались?

Рукав белой сутаны мотнулся кверху в сумерках: капитан поднес палец к губам.

— Господи помилуй! — сказал настоятель. — Кто у него там в каюте, уж не сам ли епископ?

Он первый спустился с откоса и перешел по сходням на баржу.

Колэн сказал, уступая дорогу:

— Прошу. — И почувствовал, что Куэрри колеблется. Он сказал: — Выпьем там пива. Это принято, — но Куэрри не двинулся с места. — Капитан будет рад вас видеть, — продолжал Колэн и поддержал Куэрри под локоть перед спуском.

Настоятель уже пробирался к железной лестнице возле машинного отделения, толкаясь среди женщин и коз и среди кухонных горшков, которыми был уставлен понтон.

— Что вы там говорили про большой мир? — спросил Куэрри. — Может быть, на самом деле... — И он запнулся, глядя на свою прежнюю каюту, где сейчас ветерок с реки колебал пламя свечи.

— Я пошутил, — ответил Колэн. — Вы сами посудите, похоже это на большой мир?

Ночь, которая наступает в Африке мгновенно, будто стерла баржу, оставив от нее только свечку в епископской каюте, калильную лампу в салоне, где две белые фигуры беззвучно приветствовали друг друга, и фонарь «молнию» у нижней ступеньки, где женщина толкла что-то на ужин мужу.

— Пошли, — сказал Куэрри.

Наверху лестницы их встретил капитан. Он сказал:

— А вы все еще здесь, Куэрри? Рад вас видеть.

Капитан говорил полупшепотом, будто по секрету. В салоне их ожидали раскупоренные бутылки

пива. Капитан притворил за собой дверь и впервые заговорил во весь голос. Он сказал:

— Пейте скорей, доктор Колэн. Там вас ждет пациент.

— Кто-нибудь из команды?

— Нет, не из команды, — сказал капитан, поднимая стакан с пивом. — Настоящий пассажир. За два года у меня было только два настоящих пассажира: первый — мосье Куэрри, а теперь еще вот этот. Платный пассажир, не миссионер.

— Кто же это такой?

— Он пожаловал к нам из большого мира, — сказал капитан, как эхо подхватив фразу Колэна. — Намучился я с ним. По-фламандски не говорит, по-французски еле-еле, а уж когда заболел, совсем беда. Я очень рад, что мы приехали, — добавил он и замолчал, то есть перешел в более привычное для него состояние.

— Зачем он сюда явился? — спросил настоятель.

— А я почему знаю. Вы же слышали — по-французски он не говорит.

— Врач?

— Безусловно нет. Врач никогда бы так не перепугался из-за легкого приступа лихорадки.

— Пойти, что ли, сейчас его посмотреть? — сказал Колэн. — На каком же языке он говорит?

— На английском. Я попробовал перейти на латынь, — сказал капитан. — Даже на греческий, но ничего из этого не получилось.

— Я знаю английский, — нехотя проговорил Куэрри.

— Приступ сильный? — спросил Колэн.

— Сегодня самый тяжелый день. Завтра будет полегче. Я сказал: «Finitum est», но он, видимо, понял так, что ему самому конец.

— Где вы его подобрали?

— В Люке. За него кто-то похлопотал у епископа, кажется, Рикэр. Он опоздал на пароход ОТРАКО.

Колэн и Куэрри пошли по узкой палубе к епископской каюте. С кормы свисал бесформенный спасательный круг, похожий на сушеного угря, почти над самой водой окутанная паром душевая кабина, уборная с дверью на одной петле, тут же кухонный стол и клетка, где в темноте похрустывали два кролика. Ничто здесь не изменилось — за исключением, надо полагать, кроликов. Колэн распахнул дверь каюты, и на Куэрри глянула фотография укутанной в снега церкви, но в смятой постели, которая, как ему почему-то показалось, должна была все еще хранить отпечаток его тела, точно на заячьей лежке, он увидел очень толстого голого человека. Человек лежал навзничь, на шее у него собрались три складки, и пот, скапливаясь в бороздках между ними, стекал ему под голову, на подушку.

— Придется, видно, перевести его на берег, — сказал Колэн. — Если у миссионеров есть свободная комната.

На столе рядом с кроватью стояла фотокамера «роллефлекс» и портативная машинка «ремингтон», а в нее был заложен лист бумаги, на котором пассажир успел напечатать несколько слов. Куэрри поднес свечу поближе и прочел по-английски: «вековые леса хмуро насупившись стоят вдоль берегов реки так же как они стояли когда Стэнли^[31] и его небольшой отряд». Фраза сошла на нет без знаков препинания. Колэн взял больного за кисть и пощупал ему пульс. Он сказал:

— Капитан прав. Через два-три дня будет на ногах. Спит, значит, приступ идет к концу.

— Тогда почему не оставить его здесь? — сказал Куэрри.

— Вы знаете, кто это?

— Первый раз его вижу.

— Что-то у вас голос какой-то испуганный, — сказал Колэн. — Отправить его в обратный рейс все-таки нельзя, ведь проезд сюда он оплатил.

Как только доктор отпустил руку больного, он проснулся и спросил по-английски:

— Вы доктор?

— Да. Я доктор Колэн.

— Я Паркинсон, — значительно произнес больной, точно он был единственный оставшийся в живых представитель целого племени Паркинсонов. — Я умираю?

— Ему хочется знать, умирает ли он, — перевел Куэрри.

Колэн сказал:

— Через два-три дня будете здоровы.

— Жарища какая, черт бы ее подрал, — сказал Паркинсон. Он взглянул на Куэрри. — Слава Богу, хоть один говорит по-английски. — Потом посмотрел на свой «ремингтон» и сказал: — Могила белого человека.

— Вы не сильны в географии. Это не Западная Африка. — Куэрри поправил его сухим и недружелюбным тоном.

— А там все равно ни черта, ни дьявола в этом не смыслят, — сказал Паркинсон.

— И Стэнли никогда здесь не был, — продолжал Куэрри, не пытаясь скрыть свою неприязнь.

— Нет был. Ведь эта река — Конго?

— Нет. С Конго вы расстались неделю назад, когда отплыли из Люка.

Паркинсон снова повторил свою непонятную фразу.

— Там все равно в этом ни черта, ни дьявола не смыслят. У меня голова разламывается.

— Он жалуется на головную боль, — сказал Куэрри доктору.

— Переведите: когда его снесут на берег, я ему что-нибудь дам. Узнайте, дойдет ли он сам до миссии? Это же невыносимо — тащить такую тяжесть!

— Сам? — крикнул Паркинсон. Он повернул к ним голову, и пот с шеи вылился по желобкам на подушку. — Вы что, убить меня хотите? Прелестная статейка получится, только не мне ее придется читать. Паркинсона приняла та же земля, по которой Стэнли...

— Стэнли здесь не был, — сказал Куэрри.

— Был или не был, не все ли равно. Вот прицепились! Жара, черт ее подери! Почему вентилятора нет? Если этот тип действительно врач, пусть кладет меня в хорошую больницу.

— Вам наша больница, пожалуй, не понравится, — сказал Куэрри. — Она у нас для больных лепрой.

— Тогда я останусь здесь.

— Баржа завтра уходит обратно в Люк.

Паркинсон сказал:

— Я не понимаю, что он говорит, этот ваш доктор. Можно ему довериться? Он хороший врач?

— Да, хороший.

— Но ведь они правды никогда не скажут. Мой старик так и умер в полной уверенности, что у него язва двенадцатиперстной кишки.

— Вы не умираете. У вас легкий приступ малярии, только и всего. Самое худшее позади. Если бы вы прошли до миссии пешком, для нас всех это было бы гораздо проще. Впрочем, может, вы хотите вернуться в Люк?

— Если я за что взялся, — последовал туманный ответ, — то доведу дело до конца. — Он вытер шею пальцами. — Ноги у меня как кисель, — сказал он. — Наверно, фунтов тридцать потерял. Боюсь, не отразилось бы на сердце.

— Ничего не попишешь, — сказал Куэрри доктору. — Придется тащить его.

— Пойду посмотрю, что тут можно сделать, — сказал Колэн и вышел из каюты. Когда они остались одни, Паркинсон спросил:

— Вы умеете обращаться с фотоаппаратом?

— Конечно.

— И с блицлампой?

— Да.

Он сказал:

— Тогда я вас попрошу — окажите мне любезность, Щелкните несколько снимков, когда меня будут переносить на берег. И постарайтесь, чтобы вышло с настроением. Ну, знаете как? Со всех сторон черные лица — сострадают, беспокоятся.

— С чего бы им беспокоиться?

— Это можно великолепно инсценировать, — сказал Паркинсон. — А беспокоиться им будет о чем — вдруг уронят? Там все равно не разберутся.

— Зачем вам эти снимки?

— Такие вещи всегда пользуются успехом. Фотография не врет — во всяком случае, так принято думать. А знаете, с тех пор как вы вошли в каюту и я снова могу говорить по-английски, мне стало гораздо легче. И потею меньше, правда? Хотя голова... — Он осторожно повернул голову на подушке и снова застонал. — Ну, ладно. Если б у меня не было этой малярии, пришлось бы ее, пожалуй, выдумать. Прелестный штрих.

— А вы бы поменьше говорили.

— Как я рад, что это плавание кончилось, черт бы его подрал.

— А зачем вы сюда приехали?

— Вы знаете такого — Куэрри? — сказал Паркинсон.

Он с трудом перевернулся на бок. Огонек свечи заблестел в капельках и разводах пота на его лице, так что оно стало похоже на разъезженную дорогу после сильного дождя. Куэрри знал наверняка, что он никогда раньше не видел этого человека, но ему вспомнилось, как доктор Колэн сказал: «Большой мир к нам пожаловал».

— Зачем вам понадобился Куэрри? — спросил он.

— А вот понадобился. Такая моя работа, черт бы ее подрал, — ответил Паркинсон. Он снова застонал. — Это вам не игрушечки, к черту-дьяволу. А вы правду мне говорите про врача? Не скрываете, что он сказал?

— Нет.

— Сердце меня беспокоит. За неделю похудеть на тридцать фунтов! «О ты, моя тугая плоть»^[32], как бы тебе на самом деле не сгинуть. Рассказать вам по секрету? Разудалый Паркинсон частенько так боится смерти — просто сил нет!

— Кто вы такой? — спросил Куэрри.

Но этот человек раздраженно отвернулся от него и с полным безразличием закрыл глаза. Через минуту он снова заснул.

Он все еще спал, когда его вынесли с баржи, завернутого в брезент, точно тело, которое надлежит предать морской пучине. Чтобы поднять такую тяжесть, понадобилось шесть человек, и они мешали друг другу, а на подъеме в гору один из них споткнулся и упал. Куэрри успел вовремя подхватить тяжелую ношу. Голова спящего ударила его в грудь, и ночной воздух отравило благоухание бриллиантина. Куэрри не привык таскать тяжести, и к тому времени, когда они поднялись на самый верх откоса, где их встретил отец Тома с фонарем, он весь покрылся потом и еле переводил дыхание. Его сменил африканец, а он пошел сзади рядом с отцом Тома. Отец Тома сказал:

— Зачем вы это? Ведь тяжесть какая! Да еще в жару! В вашем возрасте такие порывы не

рекомендуются. Кто он такой?

— Не знаю. Чужой, не здешний.

Отец Тома сказал:

— Возможно, что истинную цену человеку и узнаешь по его порывам.

Из темноты на них надвигался огонек настоящей сигары.

— Здесь порывистость не в почете, — со злобой продолжал отец Тома. — Кирпич, известка, ежемесячные платежи по счетам — вот о чем мы думаем. Да! Только не о самаритянине на дороге в Иерихон^[33].

— Я о нем тоже не думаю. Просто подсобил им немного, только и всего.

— Мы все должны учиться у вас, — сказал отец Тома, беря Куэрри за руку повыше локтя, точно дряхлого старца, которому нужна поддержка ученика.

Их догнал настоятель. Он сказал:

— Ума не приложу, куда мы его денем. Свободных комнат у нас нет.

— Давайте его ко мне. У меня хватит места на двоих, — сказал отец Тома и сжал Куэрри локоть, точно говоря: «Вот хоть один внял вашему уроку. Я не такой, как братья мои».

Глава третья

1

Перед доктором Колэном лежала карточка с контурами человеческого тела. Рисунок сделал он сам, карточки были заказаны в Люке, так как у него уже не осталось ни малейшей надежды получить что-нибудь подходящее из Европы. Они слишком дешево стоили, вот в чем была вся беда. Такие заказы тончайшей пылью сыпались сквозь финансовое сито, которое просеивало его просьбы о присылке тех или иных материалов. В министерских низах не было чиновников, облеченных властью разрешить расход в каких-нибудь шестьсот франков, и у тамошних служащих не хватало мужества обеспокоить тех, кто старше чином, столь мизерным требованием. Теперь, когда доктору приходилось пользоваться этими карточками, несовершенство собственных рисунков раздражало его. Он провел пальцами по спине пациента и нащупал у него под левой лопаткой новый очаг уплотнения. Потом заштриховал это место на карточке и позвал:

— Следующий!

Если бы новое больничное здание было отстроено и новый аппарат для измерения температуры кожи установлен, может быть, ему удалось бы предотвратить образование вот этого бугорка. «Важно не то, что я сделал, — вспомнилось ему, — а то, что я еще сделаю!»

Эта оптимистическая фраза имела для доктора Колэна свой особый, иронический смысл.

Когда он только что приехал в эту страну, в Люке жил один грек, хозяин лавки, старик семидесяти с лишним лет, славившийся своей молчаливостью. Он был уже несколько лет женат на молодой африканке, которая не умела ни читать, ни писать. Все дивились на эту

странную супружескую чету: он старый, и все больше молчит, она круглая невежда. Что между ними общего? Однажды грек увидел, как его приказчик африканец устроился с его женой в чулане при лавке, за мешками с кофе. Он ничего им не сказал, но на следующий день пошел в банк и взял все свои сбережения. Большую их часть он запечатал в конверт и опустил в почтовый ящик на двери местного приюта, всегда переполненного детьми-метисами, от которых матери старались отделаться. Остальные деньги грек оставил при себе, поднялся в верхнюю часть города, на ту улицу, где позади здания суда был гараж, торговавший допотопными автомобилями, и купил там машину — самую что ни на есть дешевую. Это была такая рухлядь, что, продав ее, хозяин гаража почувствовал угрызения совести, может, потому, что сам был грек. Тронуться с места она могла только в том случае, если ее пустить под уклон, но старик сказал, что ему это не важно. У него есть мечта: перед смертью хоть разок самому сесть за руль. Хотите назвать мечту причудой — пожалуйста. Тогда ему показали, как включить мотор, как нажать педаль акселератора, и, подтолкнув машину сзади, дали ей хороший старт. Грек съехал с горы и, выкатив на городскую площадь, где стоял его магазин, начал что есть силы сигналить. Прохожие удивлялись: старик обзавелся машиной и сам ею управляет! А когда он проезжал мимо своей лавки, приказчик выбежал посмотреть на это интересное зрелище. Старик объехал площадь во второй раз — останавливаться ему все равно было нельзя, так как с ровного места машина бы не двинулась, снова промчался мимо африканца, который подзадоривал его, махая ему рукой с порога, потом круто повернул руль, дал газ и, прокатив по своему приказчику, въехал в лавку, где машина и остановилась на веки вечные у кассового аппарата. Тут грек вылез из нее и, оставив все как есть, ушел в комнату за лавкой ждать полицию. Приказчик был жив, но у него были сломаны обе ноги и раздроблен таз, так что о женщинах ему отныне следовало забыть. Вскоре в лавку вошел начальник полиции. Он был совсем молодой, и это было его первое расследование, а грек считался уважаемой личностью в Люке. «Что же вы сделали?» — сказал начальник, входя в комнату за лавкой. «Важно не то, что я сделал, — ответил старик, — а то, что я еще сделаю!» — и он достал револьвер из-под подушки и выпалил себе в голову. С тех пор доктор Колэн частенько находил утешение в этом четко сформулированном ответе старого греческого лавочника.

Он снова крикнул:

— Следующий!

День выдался из ряда вон знойный и душный, больных пришло мало, и все они были какие-то вареные. Доктор до сих пор не переставал удивляться, до чего же трудно акклиматизируются люди даже в своей родной стране: африканцы страдают от жары не меньше европейцев. Вот так же мучительна была долгая зимняя ночь для шведки, которую он знал когда-то. Точно она была родом с юга. Больной, стоявший перед доктором, избегал встречаться с ним взглядом. На карточке было проставлено его имя: «Интенсиво», и хотя сейчас он действительно интенсивно думал о чем-то, мысли его бродили где-то далеко.

— Опять было плохо ночью? — спросил доктор.

Больной испуганно взглянул поверх докторского плеча, точно оттуда на него надвигалась какая-то опасность, и сказал:

— Да.

Веки у него были опухшие, белки в красных прожилках; вобрав в себя впалую грудь, он повел плечами вперед, точно закрывая корки книжного переплета.

— Это скоро пройдет, — сказал доктор. — Потерпи немножко.

— Я боюсь, — сказал больной на своем языке. — Когда наступит ночь, пожалуйста, вели связать мне руки.

— Неужели так тяжело?

— Да. Я боюсь за сына. Он спит рядом со мной.

Лечение препаратом ДДС было дело не простое. Реакция на это лекарство иной раз бывает просто ужасная. Если беда заключалась только в том, что прием ДДС вызывал боль в нервных стволах, пациента начинали пользоваться кортизоном, но в некоторых случаях с наступлением темноты больные, которым давали ДДС, становились неменяемыми.

Человек повторил:

— Я боюсь. Я могу убить сына.

Доктор сказал:

— Это пройдет. Еще одна ночь, и все. Ты только помни, что тебе надо крепиться. Ты умеешь узнавать время по часам?

— Да.

— Я дам тебе часы, которые светятся, время по ним можно проверять и в темноте. Начнется у тебя в восемь часов. К одиннадцати станет хуже. Если тебе свяжут руки, ты будешь биться. Сдерживай себя, не бейся. Лежи и смотри на часы. К часу ночи будет совсем плохо, а потом начнет стихать. К трем ты почувствуешь себя лучше, вот как сейчас, а потом станет все легче и легче, и исступление пройдет. Не своди глаз с часов и помни, что я тебе говорил. Ну как, согласен?

— Да.

— Часы я принесу тебе еще засветло.

— Мой сын...

— Не беспокойся о сыне. Я попрошу монахинь, чтобы они приглядели за ним, пока тебе не полегчает. А твое дело смотреть и смотреть на часы. Стрелки движутся, и исступление тоже не будет стоять на месте. В пять часов утра зазвонит звонок. Тогда ты уснешь. То, что тебя мучит, уйдет. И не вернется больше.

Он старался говорить как можно убедительнее, но сам чувствовал, что жара глушит в его голосе всякую интонацию. Когда больной ушел, ему показалось, будто его выпотрошили и швырнули потроха прочь. Он сказал своему помощнику:

— Сегодня никого больше не приму.

— Там только шестеро.

— Что, в самом деле, мне одному не положено страдать от жары?

И все же чувство стыда шевельнулось в нем, когда он, как дезертир, покидал свой крохотный участок фронта, где тоже шла битва.

Может быть, это чувство и привело его еще к одному пациенту. Проходя мимо комнаты Куэрри, он увидел, что тот сидит за чертежной доской, дальше была комната отца Тома. Отец Тома тоже не работал в то утро — его классы, как и амбулатория, пустовали бы в такую жару. Паркинсон сидел на единственном в комнате стуле в одних пижамных штанах, вздержка в них, казалось, опоясывает яйцо, причем не очень надежно. Когда Колэн вошел к ним, отец Тома горячо говорил что-то на английском языке, несколько странном даже на слух доктора. Он уловил фамилию «Куэрри». В узком проходе между двумя кроватями негде было стать.

— Ну-с, мосье Паркинсон, — сказал Колэн, — как видите, вы не умерли. От легкой лихорадки не умирают.

— Что он говорит? — спросил Паркинсон отца Тома. — Вот тоска, когда ничего не понимаешь. Стоило норманнам завоевывать Англию, если мы до сих пор говорим на разных языках!

— Зачем он сюда пожаловал, отец Тома? Вы это выяснили?

— Он все расспрашивает меня о Куэрри.

— Это еще почему? Какое ему до него дело?

— Он только ради того и приехал, чтобы поговорить с ним.

— Тогда вполне бы мог отправиться в обратный путь на барже, потому что Куэрри разговаривать с ним не будет.

— Куэрри! Да, да, Куэрри! — сказал Паркинсон. — Что он там выкомаривает? Это же глупо! Какой смысл прятаться от Монтегю Паркинсона? Разве не ко мне мечтой стремится каждый человек? Цитата. Из Суинберна ^[34].

— Что же вы ему рассказали, отец?

Отец Тома сразу ошетинился:

— Я только подтвердил то, что ему говорил Рикэр.

— Ах, Рикэр? Ну, значит, он наслушался всякого вранья.

— Разве история с Део Грациасом вранье? И новая больница тоже вранье? Я надеюсь, что мне удалось подать все это в должном освещении.

— Какое же это освещение?

— Католическое, — ответил отец Тома.

Портативный «ремингтон» стоял здесь на столе рядом с распятием. По другую сторону распятия, точно второй разбойник, свисала с гвоздя фотокамера «роллефлекс». Доктор Колэн увидел на столе лист бумаги с машинописным текстом. Читать по-английски ему было проще, чем говорить. Он прочел заголовок: «Отшельник с берегов Великой реки» — и перевел осуждающий взгляд на отца Тома.

— Вы знаете, о чем тут?

— Это история Куэрри, — сказал отец Тома.

— Вот эта белиберда?

Колэн снова взглянул на страничку: «Такое имя дали туземцы неизвестному, появившемуся среди них в самом сердце Черной Африки». Колэн спросил:

— Qui etes-vous^[35]?

— Паркинсон, — последовал ответ. — Вам уже было сказано: Монтегю Паркинсон. — Он разочарованно добавил: — Неужели это имя ничего вам не говорит?

Ниже на странице Колэн прочел: «...три недели, чтобы добраться на барже до этих диких мест. На седьмой день я заболел, и меня в бессознательном состоянии снесли на берег — укусы мухи цеце и москитов даром не проходят. Там, где Стэнли прокладывал себе путь пулеметами, сейчас ведется другая битва, на сей раз на благо африканцам, — битва со смертельной опасностью, с проказой... очнувшись, увидел, что лежу в больнице для прокаженных...»

— Но это все ложь, — сказал Колэн отцу Тома.

— Чего он кипятится? — спросил Паркинсон.

— Он говорит, что здесь у вас не совсем все... правда.

— Скажите ему, что здесь все вернее всякой правды. Это страница современной истории. Неужели вы воображаете, что Цезарь действительно сказал: «И ты, Брут?»^[36] Это надо было сказать, и те, кто при сем присутствовал, — старик Геродот^[37], что ли? Нет, он, кажется, был грек... значит, другой, Светоний^[38] — проявили оперативность и сообразили, что тут требуется. Правду всегда предпочитают забыть. Питт потребовал на смертном одре пирожков со свиной, но история вложила ему в уста другое^[39].

За извилистым ходом мысли Паркинсона не мог уследить даже отец Тома.

— Мои очерки надо помнить как исторические факты. Хотя бы от воскресенья до воскресенья. В следующем воскресном номере будет «Святой с прошлым».

— Вы тут что-нибудь понимаете, отец? — спросил Колэн.

— Не очень, — признался отец Тома.

— Зачем он сюда явился — причинять неприятности?

— Нет, нет! Ничего подобного. Я понял так, что его прислала в Африку газета писать о волнениях на британской территории. Туда он опоздал, но к тому времени начались беспорядки у нас в столице, и он приехал к нам.

— Не зная ни слова по-французски?

— У него был обратный билет первого класса до Найроби. Их газете не по средствам держать в Африке сразу двоих светил, как он выражается, и ему телеграфировали, чтобы он перебрался на нашу территорию. К нам он тоже опоздал, но тут до него дошли слухи о Куэрри. Он говорит, что ему нельзя возвращаться с пустыми руками, надо хоть чем-нибудь блеснуть. И вот в Люке он повстречался у губернатора с Рикэром.

— Что ему известно о прошлом Куэрри? Мы сами...

Паркинсон внимательно прислушивался к их спору, его глаза перебегали с одного лица на другое. Хватаясь время от времени за какое-нибудь одно понятное слово, он тут же делал поспешные, скоропалительные, ошибочные умозаключения.

— Оказывается, — продолжал отец Тома, — в редакциях английских газет есть так называемые морги. Стоит ему сделать телеграфный запрос, и они вышлют сюда конспективное изложение всех материалов, публиковавшихся о Куэрри.

— Как полицейское досье.

— Я уверен, что ничего компрометирующего там не будет.

— Неужели, — печально спросил Паркинсон, — никто из вас не слышал моего имени — Монтегю Паркинсон? Уж, кажется, следовало бы запомнить. — Было непонятно, смеется он над собой или нет.

Отец Тома сказал:

— Откровенно говоря, до вашего приезда...

— Имя мое написано на воде. Цитата. Из Шелли^[40], — перебил его Паркинсон.

— А Куэрри знает, что тут затевается? — спросил доктор Колэн.

— Пока нет.

— Он только-только начинает привыкать. Ему хорошо здесь.

— Не торопитесь, доктор, — сказал отец Тома. — Есть и другая сторона вопроса. Наш лепрозорий может прославиться, как больница Швейцера, а англичане, по слухам, народ щедрый.

Фамилия Швейцер, видимо, помогла Паркинсону уловить смысл того, что говорил отец Тома. Он выпалил единым духом:

— Мои очерки публикуются одновременно в Соединенных Штатах, Франции, Германии, Японии и Южной Америке. Никто из ныне здравствующих журналистов...

— До сих пор мы как-то обходились без рекламы, отец, — сказал Колэн.

— Реклама — та же пропаганда. А специальным методам пропаганды обучают у нас в Риме.

— В Риме, отец, это, вероятно, более уместно, чем в Центральной Африке.

— Реклама может стать серьезной проверкой человеческих достоинств. Хотя лично я уверен, что Куэрри...

— Я никогда не увлекался жестокими видами спорта, отец. А уж таким, как охота на человека, и подавно.

— Вы преувеличиваете, доктор. Из всего этого может проистечь много добра. Вспомните, какая у вас всегда нехватка средств. Миссия не может финансировать лепрозорий. Государство

не желает. Подумайте о своих пациентах.

— Может быть, Куэрри тоже наш пациент, — сказал Колэн.

— А, бросьте! Я говорю о прокаженных. Вы же сами всегда мечтали: были бы деньги, хорошо бы ввести восстановительную терапию для больных — для этих ваших беспалых калек.

— Может быть, Куэрри тоже калека, — сказал доктор и посмотрел на толстяка, сидевшего на стуле. — А где ему теперь проходить курс восстановительной терапии? Огни рампы противопоказаны увечным.

Дневная жара и вспышка взаимной злобы заставили их забыть об осторожности, и не они, а Паркинсон увидел, что человек, о котором здесь шел спор, уже переступил порог комнаты отца Тома.

— Здравствуйте, Куэрри, — сказал Паркинсон. — А я не узнал вас тогда, на барже.

Куэрри ответил:

— Я вас тоже не узнал.

— Слава Богу, что вы не кончились, как все эти беспорядки, — сказал Паркинсон. — Ну вот, по крайней мере один материальчик мне обеспечен. Нам с вами надо потолковать, друг мой.

2

— Вот это и есть новая больница? — сказал Паркинсон. — Я, правда, мало что смыслю в таких делах, но, по-моему, ничего оригинального в ней нет. — Он наклонился над чертежом и сказал явно с намерением вызвать на разговор: — Что-то в этом роде есть в одном из наших городов-спутников. То ли в Хэмел-Хэмпстеде, то ли в Стивнидже.

— Тут архитектуры нет и в помине, — сказал Куэрри. — Это дешевое строительство, только и всего. Чем дешевле обойдется, тем лучше. Главное, чтобы выдержало жару, дожди и влажность воздуха.

— И для строительства этой больницы им требуется такой, как вы?

— Да. У них нет строителя.

— И вы решили остаться здесь до конца, пока не построят?

— Останусь и дольше.

— Значит, в рассказах Рикэра какая-то доля правды есть?

— Сомневаюсь. По-моему, ни одному его слову нельзя верить.

— Но похоронить себя здесь — это действительно под стать только святому!

— Нет. Я не святой.

— Тогда кто же вы? Чем вы руководствуетесь в своих поступках? Я о вас много чего знаю. Сводку по вашему досье мне выслали, — сказал Паркинсон. Он опустил всей своей тяжестью на кровать и добавил доверительным тоном: — Ведь вы не из тех, кто любит ближних своих, а?

Речь идет, понятно, не о женщинах.

Растленность обладает гипнотической силой, а в Паркинсоне она так и лезла в глаза, будто фосфоресцируя у него на коже. Все доброе давно скончалось от удушья в этой горе мяса. Священника, может быть, не ужасает греховность человека, но горечь и разочарование он способен чувствовать. Паркинсона же чужие грехи просто радовали. Огорчить его могла только собственная неудача, разочаровать — сумма, проставленная в чеке.

— Вы слышали, как меня только что назвал доктор? Увечным. Среди прокаженных есть такие, которых болезнь сначала обгложет, елико возможно, а потом оставит.

— По вашему виду этого не скажешь, вы пока что целехоньки, — ответил Паркинсон, разглядывая пальцы лежащие на чертежной доске.

— Я истратил себя до конца. И вот это место, где мы с вами находимся, и есть конец. Дальше никуда не уедешь — ни по дороге, ни по реке. Вас ведь тоже прибило здесь к берегу?

— Э, нет! У меня дело.

— На барже я вас испугался, а теперь не боюсь.

— Не понимаю, что во мне страшного. Человек как человек.

— Нет, — сказал Куэрри. — Вы такой же, как я. Творческие люди — это порода особая. Если они что теряют, их потери больше, чем у других. Каждый из нас, на свой лад, конечно, священник, лишенный сана. Сознайтесь, ведь и у вас когда-то было призвание — может, к писательству.

— При чем это тут? Почти все журналисты так начинают.

Паркинсон сдвинул с места свои ягодицы, будто поволочил два мешка, и кровать прогнулась под его тяжестью.

— А кончают... на ваш манер?

— К чему вы, собственно, клоните? Хотите оскорбить меня? Пустая затея, мосье Куэрри. Не выйдет.

— Зачем мне вас оскорблять? Мы с вами два сапога пара. Я начинал архитектором, а кончаю как простой строитель. В таком продвижении мало приятного. А в вашем финише, Паркинсон, есть какая-нибудь приятность?

Куэрри посмотрел на страницу машинописного текста, которую он прихватил с собой из комнаты отца Тома.

— Работа, она работа и есть.

— Безусловно.

— Она кормит меня, — сказал Паркинсон.

— Да.

— И напрасно вы приравниваете нас друг к другу. Я, по крайней мере, живу и наслаждаюсь

жизнью.

— Ну, еще бы! Ублажаете свою плоть. Любите покушать, Паркинсон?

— Приходится ограничивать себя. — Он поймал болтающийся угол полога от москитов и отер им лоб. — Я вешу двести пятьдесят фунтов.

— Ну а женщины, Паркинсон?

— Почему, собственно, вы меня спрашиваете? Я сам пришел взять у вас интервью. Ну, конечно, иной раз случается — переспишь, но в жизни каждого мужчины наступает такое время, когда...

— Вы моложе меня.

— Сердце начинает пошаливать.

— Значит, вы тоже истратили себя до конца, Паркинсон? И вот где мы оба очутились. Двое увечных. Таких, наверно, много на белом свете. Надо бы нам придумать какой-нибудь масонский знак, что ли, чтобы опознавать друг друга.

— Я не увечный. У меня есть работа. Самые крупные газеты перепечатают...

Ему, видимо, хотелось во что бы то ни стало подчеркнуть свое полное несходство с Куэрри. Как больной, который обнажается перед врачом, он старался доказать, что у него нет ни уплотнений на коже, ни узелков — словом, ничего такого, что могло бы поставить его на одну доску с другими прокаженными.

— Было время, — сказал Куэрри, — когда вы не написали бы этой фразы о Стэнли.

— Маленький ляпсус, подвела география, только и всего. События надо драматизировать. Это первый урок, который преподают репортерам нашей «Пост», — приперчивайте материал. И вообще никто этой ошибки не заметит.

— А вы написали бы обо мне всю правду?

— Существуют законы о клевете в печати.

— Я бы не стал привлекать вас к ответственности. Обещаю вам. — Он прочел вслух газетный анонс: — «Святой с прошлым. Вот так святой!»

— Вы так уверены, что Рикэр судит о вас неправильно? Ведь мы же по-настоящему себя не знаем.

— Надо знать, если хочешь вылечиться. Когда доходишь до точки, тут все ясно. Когда пальцев у тебя не осталось ни на руках, ни на ногах и соскобы, взятые с кожи, дают отрицательные результаты, тогда ты уже никому не причинишь вреда. Ну так как, Паркинсон, напишете обо мне всю правду, если услышите ее от меня самого? Да нет, где вам! Ваша болезнь не изжила себя. Вы все еще бациллоноситедь.

Паркинсон обратил па Куэрри страдальческий взор. У него был вид человека, доведенного пыткой до изнеможения, готового признать все, в чем его обвиняют.

— Если я осмелюсь, меня тут же выпрут из газеты, — сказал он. — Рисковать хорошо, когда ты

молод. Мне далеко до вечного блаженства и т. д. и т. п. Цитата. Из Эдгара Аллана По.

— Это не Эдгар По.

— Такие пустяки никто не замечает.

— Каким же прошлым вы меня наградили?

— Ну-с, вспомним, например, дело Анны Морель. Было такое? О нем писали даже английские газеты. Ведь как-никак мать у вас была англичанка. А вы к тому времени как раз закончили постройку той модернистской церкви в Брюгге.

— Только не в Брюгге. Что же там у вас сказано об этом?

— Что она покончила с собой из-за любви к вам. Восемнадцать лет. Из-за сорокалетнего.

— С тех пор прошло больше пятнадцати лет. Неужели у газет такая длинная память?

— Нет. К нашим услугам морг. Вот я и опишу в лучших литературных традициях воскресных выпусков, как вы приехали сюда, чтобы искупить...

— Газеты, вроде вашей, не обходятся без мелких ошибок. Ту женщину звали не Анна, а Мари. Ей было не восемнадцать, а двадцать пять лет. И она покончила с собой вовсе не из-за любви ко мне. Ей нужно было во что бы то ни стало спастись от меня. Вот и все. Так что — видите? — мне искупать нечего.

— Она хотела спастись от любимого человека?

— Вот именно. Женщине, должно быть, невыносимо еженощно предаваться любви с безотказно действующим механизмом. Я никогда не разочаровывал ее. Она бросала меня несколько раз, и каждый раз я заставлял ее возвращаться. Мое тщеславие, видите ли, не допускало, чтобы женщина сама меня бросила. Бросать должен был я.

— Как же вы ее возвращали?

— Мы, люди искусства, обычно проявляем способности и в смежных областях. Художник пописывает. Поэт возьмет да и сочинит какой-нибудь мотивчик. Я в те годы был недурным актером. Один раз пустил в ход слезы. Потом принял большую, но конечно не смертельную, дозу нембутала. Потом завел роман с другой женщиной, чтобы эта поняла, чего она лишится, если уйдет от меня. Я даже сумел внушить ей, что не смогу без нее работать. Убедил, что отойду от церкви, если моя вера лишится ее поддержки — она была доброй католичкой, даже в постели. В глубине души я, конечно, от церкви уже давно отошел, но она даже не подозревала этого. Немножко-то я верил, как чуть ли не все мы верим, но главным образом по большим праздникам — на Рождество, на Пасху, когда воспоминания детства будят в нас нечто вроде набожности. А она всегда принимала это за любовь к Господу Богу.

— И все-таки ради чего-то вы приехали сюда, к прокаженным.

— Не ради искупления грехов, мистер Паркинсон. Женщин было много и после Мари Морель, и до нее. Еще лет десять я, пожалуй, как-то ухитрялся верить в свои собственные чувства: «родная моя», «tout a toi»^[41] и прочее, тому подобное. Мы стараемся избежать повторения одних и тех же фраз, стараемся принять для каждой женщины ей удобное положение, хотя, по Аретино, таких положений насчитывается только тридцать два, а ласкательных слов у нас в

запасе и того меньше. Но в конце-то концов, у большинства женщин оргазм легче всего наступает в самом обычном положении, и мы сопровождаем его самыми обычными словами. Мне понадобилось только время — понять, что это не любовь, что по-настоящему я никогда не любил. Я лишь принимал любовь. И вот тогда на меня навалилась скука. Потому что я обманывал самого себя не только с женщинами, я обманывал себя и с работой.

— Вашу славу никто и никогда не ставил под сомнение.

— Будущее поставит! Склонился сейчас над чертежной доской на глухой улочке Брюсселя юнец, который со временем развенчает меня. Любопытно бы поглядеть, какой собор он выстроит. Впрочем, нет. Если б было любопытно, меня бы сюда не занесло. Этого юнца не лишат сана. Он пройдет искус в послушании.

— Не пойму, что вы несете, Куэрри? Так и кажется, будто Рикэра слушаешь!

— Да? Может быть, он тоже с масонским знаком?

— Если вас одолевает скука, почему бы вам не скучать с комфортом? Квартирка в Брюсселе или вилла на Капри. Ведь вы состоятельный человек, Куэрри.

— Скучать с комфортом вдвое хуже. Я думал, что, может быть, здесь, где столько мук и столько страха, мне удастся отвлечься от... — Он взглянул на Паркинсона. — Уж, кажется, кто-кто, а вы должны бы меня понять.

— Ровным счетом ничего не понимаю!

— Неужели я такое чудовище, что даже вы?..

— А как же ваша работа, Куэрри? Что бы вы ни говорили, она-то вам не могла наскучить? Ведь вы пользовались бешеным успехом.

— Вы о деньгах? Но я же сказал, что работал я плохо! Что такое мои церкви по сравнению с Шартрским собором? В них, конечно, виден мой почерк — Куэрри не спутаешь с Корбюзье^[42]. Но кому из нас известно имя шартрского зодчего? Он о славе не помышлял. Им двигала любовь, а не тщеславие, любовь и, надо полагать, вера. Строить церковь, не веруя в Бога, — в этом отчасти есть что-то непорядочное правда? Подметив это за собой, я взял заказ на строительство городской ратуши, но ведь веры в политику у меня тоже не было. Посмотрели бы вы на ту нелепую коробку из железобетона и стекла, которую я водрузил на злосчастной городской площади! Понимаете, что произошло? Я увидел ниточку у себя на обшлаге, потянул за нее, и весь свитер стал разматываться. Может быть, правда нельзя верить в какое-нибудь божество, не любя человека, или наоборот: нельзя любить человека, не веруя в божество? Вот говорят: «сила любви, сила любви». А откуда взять творческие силы, чтобы любить самому? Обычно тем дело и ограничивается, что ты любим, — если тебе повезло.

— Допустим, все это правда. Но зачем вы мне это говорите, мосье Куэрри?

— А затем, что вас правда не шокирует, хотя всю правду обо мне вы вряд ли напишете. Может быть, — как знать! — после нашего разговора вы откажетесь от той нелепой душеспасительной дребедени, которую распространяет обо мне Рикэр? Я не Швейцер. Боже мой! Как бы этот человек не довел меня до того, что мне захочется соблазнить его жену. Тогда, по крайней мере, он запоет по-другому.

— А вы ручаетесь за успех?

— Как ни грустно, Паркинсон, но не хвастливость, а опыт заставляет меня ответить на ваш вопрос утвердительно.

Паркинсон с неожиданной для него уважительностью развел руками. Он сказал:

— Я видеть близ себя хочу лишь толстяков, худые люди могут быть опасны. Цитата. Из Шекспира. На сей раз точно. А вот я даже не знал бы, с чего начать.

— Начинайте с читательниц вашей «Пост». Вы пользуетесь у них успехом, а успех как возбуждающее средство, действует безотказно. Самая легкая добыча, Паркинсон, замужние дамы. Молоденькая девица чаще всего действует с оглядкой, а замужней уже ничто не грозит. Муж в конторе, ребятишки в детском саду, предохранительный колпачок в сумочке. Замуж она выскочила, ну, скажем, в двадцать лет, и почему бы ей не предпринять небольшую прогулочку в сторону, пока не стукнуло тридцать? Если муж у нее тоже молодой — пусть это вас не смущает, — может быть, она пресытилась молодостью. От людей нашего с вами возраста можно не ждать сцен ревности.

— Все, что вы говорите, имеет весьма отдаленное отношение к любви. По вашим собственным словам, вас любили. Если не ошибаюсь, вы даже посетовали на это. Но, может, я все-таки ошибаюсь? Сами понимаете, чего же еще ждать от какого-то паршивого журналиста!

— Где признательность, там недолго — увы, совсем недолго — и до любви. Самая очаровательная женщина почувствует признательность даже к стареющему мужчине, такому, как я, если она снова познает с ним наслаждение. После десяти лет в одной и той же постели молоденький розан несколько увядает, а теперь он вновь расцвел. Муж видит, как она похорошела. Дети для нее уже не обуза. Она, как и в былые дни, проявляет интерес к своим хозяйским обязанностям. Намекает кое на что самым близким подругам, потому что быть любовницей знаменитого человека — это повышает ее уважение к самой себе. Интрижка подходит к концу. Начинается роман.

— Ну и каналья же вы, да какая бесчувственная! — с глубочайшим уважением произнес Паркинсон, точно отзываясь о владельце газеты «Пост».

— Вот и напишите об этом вместо той душеспасительной белиберды.

— Нельзя, никак нельзя. Наша газета предназначена для семейного чтения. Конечно, в слове «прошлое» есть определенный привкус, но тут подразумевается отказ от прежних безумств, а не от добродетелей, правда? Мы коснемся мадемуазель Морель со всей возможной деликатностью. Ну, а Гризон... был такой, а?

Куэрри молчал.

— Какой смысл отрицать? — сказал Паркинсон. — Гризон тоже мумифицирован в нашем морге.

— Да, был такой. Вспоминаю. Но без всякого удовольствия, потому что я не любитель фарсов. Гризон занимал крупную должность в министерстве почт и телеграфа. Он вызвал меня на дуэль, как только я бросил его жену. На современную фиктивную дуэль, когда стреляют куда угодно, только не в противника. Меня так и подмывало нарушить дуэльный кодекс и подранить его, но тогда эта женщина вообразила бы, что мною двигала пылкая любовь. За все время нашей связи он, бедняга, ни на что не жаловался, но, когда я бросил ее, она стала закатывать своему супругу такие сцены на людях... Я был гораздо милосерднее к нему, чем его собственная жена.

— Удивляюсь, почему вы все это мне выкладываете, — сказал Паркинсон. — Обычно в беседах со мной люди бывают более сдержанны. Впрочем, был один убийца, так он говорил не меньше вашего.

— Может быть, болтливость — характерное свойство убийц?

— Этого молодчика не повесили, и я выдал себя за его брата и по два раза в месяц ходил к нему в тюрьму. Но все-таки ваше поведение меня удивляет. Поначалу вы не показались мне таким уж разговорчивым.

— Я ждал вас, Паркинсон, вас или вам подобного. Ждал, хотя и побаивался.

— Да, но почему?

— Вы мое зеркало. С зеркалом разговаривать можно, но все-таки страшновато. Оно дает слишком точное отражение. Если бы я поговорил с отцом Тома вот так, как с вами, он извратил бы каждое мое слово.

— Весьма вам признателен за добрый отзыв.

— Добрый отзыв? Да я чувствую к вам не меньшую неприязнь, чем к самому себе. Мне было почти хорошо здесь перед вашим приездом, Паркинсон, а говорил я с вами сейчас для того, чтобы у вас не осталось поводов задерживаться в лепрозории. Интервью окончено, и признайтесь, что более интересного у вас никогда не было. Ведь вам не нужно знать, какого я мнения о Гропиусе^[43]? Ваши читатели, наверно, понятия не имеют, кто такой Гропиус.

— Тем не менее у меня вот тут набросаны кое-какие вопросы, — сказал Паркинсон. — Может, перейдем к ним, поскольку путь теперь расчищен?

— Я сказал, что интервью окончено.

Не вставая с кровати, Паркинсон наклонился вперед и тут же откинулся к стене, словно китайский болванчик, изображающий тучного божка благоденствия. Он сказал:

— Что является для вас основной побудительной силой, мосье Куэрри, — любовь к Богу или любовь к человечеству? Как по-вашему, что ожидает христианство в будущем? Не под влиянием ли Нагорной проповеди^[44] вы решили посвятить свою жизнь прокаженным? Кто ваш любимый святой? Верите ли вы в действенность молитвы?

Он кончил хохотом, и его огромный живот заколыхался, точно дельфин на волнах.

— Возможны ли чудеса в наши дни? Посетили ли вы Фатиму? — Он встал с кровати. — И прочая тому подобная чепуха. «В своей камерке с голыми стенами, в самом сердце черного континента один из величайших зодчих современности и один из известнейших католиков наших дней открыл душу корреспонденту „Пост“. Монтегю Паркинсон, который был в Южной Корее в пору самых горячих событий, проявил оперативность и на сей раз. В воскресном номере он откроет нашим читателям основную побудительную силу поступков мосье Куэрри. Эта побудительная сила — сокрушение о прошлом. Подобно многим канонизированным святым, Куэрри искупает свою бурную молодость служением людям. Святой Франциск был самым веселым ветрогоном, какого только знал веселый городок — по-старинному Фиренце, а по-нашему Флоренция».

Паркинсон вышел в нестерпимое сияние конголезского дня, но решил, что еще не все сказано. Он повернул назад, уткнулся лицом в сетку и словно брызнул сквозь нее словами:

— В воскресном номере «Самоубийство из-за любви». Вы мне так же мало симпатичны, Куэрри, как и я вам, но я вас превознесу. Я вас так превознесу, что вам воздвигнут здесь памятник у реки. Отчаянно безвкусный — известно, какие они бывают. Но воспротивиться этому вы не сможете, потому что вас тогда не будет в живых. Представляете? Вы стоите на коленях в окружении ваших гнусных прокаженных и учите их молиться Богу, в которого сами не верите, а птички тем временем какают вам на голову. То, что вы религиозный шарлатан, Куэрри, меня мало трогает, но я не позволю вам использовать меня для облегчения вашей кровоточащей совести. И если лет через двадцать к месту вашего упокоения начнется паломничество, я нисколько не удивлюсь. Вы уж поверьте мне, вот так она и пишется, история.

Exegi monumentum^[45] Цитата. Из Вергилия.

Куэрри вынул из кармана письмо с емкой заключительной фразой, которая, впрочем, могла быть и вполне искренней. Письмо пришло от той женщины, о существовании которой Паркинсон не знал: морг «Пост» оказался не настолько велик, чтобы вместить все трупы, какие были. Он снова перечитал его под впечатлением разговора с Паркинсоном. «Ты помнишь?» Эта женщина не признавала, что когда умирает чувство, вместе с ним умирает и память о прошлом. Приходилось принимать ее воспоминания на веру, потому что в правдивости ей никто бы не отказал. Она была как та гостья, которая требует в хаосе закончившейся пирушки, чтобы ей отыскивали ее собственную коробку спичек.

Он подошел к кровати и лег. Горячая подушка накалила шею, но сегодня ему было бы трудно вынести общество миссионеров за завтраком. Он подумал: одно-единственное я мог делать, и теперь это оправдывает мое пребывание здесь. Обещаю и тебе, Мари, и тебе, Toute a toi, и другим тоже: ни со скуки, ни из тщеславия не стану я больше завлекать другое человеческое существо в свою безлюбую пустыню. Никому не причиню я больше зла, думал он и радовался, как радуется прокаженный, когда больничное затворничество наконец-то раскрепощает его от боязни заразить других. Мари Морель уже много лет как исчезла у него из мыслей, а сейчас он вспомнил тот день, когда впервые услышал ее имя. Он услышал его от студента — молодого архитектора, которому он помогал в занятиях. Они съездили на день в Брюгге и вернулись в залитый неоновым светом вечерний Брюссель и у Северного вокзала случайно столкнулись с этой девушкой. Он немного позавидовал своему скучному, ничем не примечательному спутнику, когда при виде его она вся просияла на ярком свете. Приходилось ли кому наблюдать, чтобы мужчина улыбался женщине так, как женщина вдруг улыбнется любимому — где-нибудь на автобусной остановке, в поезде, в бакалейной лавке за покупкой круп, улыбнется невзначай, такой непосредственной, открытой, такой радостной улыбкой? Обратное, пожалуй, тоже будет правильно. Ни один мужчина не способен улыбаться так деланно, как улыбается девица в зале публичного дома. Но та девица, думал Куэрри, подражает чему-то настоящему. У мужчин таких образцов для подражания нет.

Вскоре у него уже не было причин завидовать своему тогдашнему спутнику. Даже в те давние годы он умел давать нужное направление потребности в любви, присущей каждой женщине. Женщине? Она была моложе того студента, фамилия которого выскочила у него из памяти, какая-то некрасивая фамилия, вроде Хоге. Мари Морель умерла, а бывший студент, вероятно, жив и строит разным буржуа загородные виллы — эдакие агрегаты для житья. Куэрри обратился к нему, лежа на кровати:

— Простите меня. Я ведь и в самом деле был убежден, что не причиняю вам зла. Я и в самом деле думал в те годы, что мною движет любовь.

Бывает такой период в жизни, когда человек с весьма скромными актерскими данными может обмануть даже самого себя.

Часть V

Глава первая

Неожиданное появление и неожиданное исчезновение людей характерно для Африки, точно пустынные просторы слабо развитого континента способствуют такому дрейфованию. Прилив выбрасывает всякие обломки на берег и, уходя, уносит их с собой, а потом бросает где-нибудь в другом месте. Паркинсона никто не ждал, о его приезде никого не предупредили, и через несколько дней, «проявляя оперативность» и торопясь куда-то еще, он уже шагал со своим «роллефлексом» и «ремингтоном» к реке, где стоял пароход ОТРАКО. Две недели спустя поздно вечером у причала остановился катер с молодым чиновником из Люка, который сыграл с миссионерами партию в кости, выпил на ночь стакан виски, а утром, даже не позавтракав, исчез в серо-зеленой бескрайности. Он оставил после себя номер английского журнала «Архитектурное обозрение», точно это было единственной целью его приезда. (В номере, кроме критических высказываний по поводу новой автомагистрали, было несколько снимков безобразного собора, только что выстроенного в одной из британских колоний. Может быть, молодой чиновник думал, что это послужит предостережением для Куэрри?) Незаметно пробежало еще несколько недель — несколько смертей от туберкулеза, на несколько футов выше поднялись над фундаментом стены больницы, — и вот с парохода ОТРАКО сходят двое полисменов навести справки об офицере Армии спасения, которого разыскивают власти. Как выяснилось, он уговорил людей одного племени, недалеко от здешних мест, продать ему все их одеяла, ибо в день воскресения мертвых в такой одежде будет жарко, и ему же отдать вырученные деньги, а он их спрячет от воров в самом надежном месте. В виде компенсации африканцы получили от него бумажки, охраняющие их от католических и протестантских миссионеров, которые, как он уверял, при помощи колдовства оптом вывозят в Европу запечатанные контейнеры с человеческими трупами, а там их пускают на консервы под названием «Лучший африканский тунец». В лепрозории полисмены ничего не узнали о беглеце и через два часа отбыли обратно, уплывая с той же скоростью и в том же направлении, что и маленькие островки водяных гиацинтов, точно они оба тоже были частью растительного мира.

Куэрри начинал забывать Паркинсона. Большой мир сделал свое черное дело и ушел, и снова наступил какой-то покой. Рикэр не напоминал о себе, эхо газетных статей из далекой Европы пока что не доходило до Куэрри. Даже отец Тома уехал на время в семинарию в джунглях, надеясь привезти оттуда преподавателя для вновь открытого класса. Ноги Куэрри постепенно привыкли к длинной латеритовой дорожке, тянувшейся между его комнатой и больницей; по вечерам, когда самая страшная жара спадала, латерит переливался розовато-красными бликами, точно распускающийся ночной цветок.

Отцы миссионеры не интересовались личной жизнью окружающих. Один пациент, вылечившись, уехал из лепрозория, а его жена перебралась к другому мужчине, но ей никто ничего не сказал. Школьный учитель, которого проказа изувечила как только могла, не оставив ему ни носа, ни пальцев на руках и на ногах (будто его кто обкорнал, обстругал, подровнял ножом), прижил ребенка с женщиной, которая могла передвигаться только ползком, волоча за собой тонкие, как палочки, иссушенные полиомиелитом ноги. Отец принес ребенка в церковь — крестить, и ему дали имя Эммануель, не читая нравоучений, ни о чем не расспрашивая. Миссионерам некогда было возиться с тем, что церковь считала грехом (догматика интересовала их меньше всего). Приглушенные инстинкты окольными путями,

может, иногда и пробивались наружу у отца Тома, но в эти дни его в лепрозории не было, и он никому не докучал своими тревогами и сомнениями.

Понять, что собой представляет доктор, оказалось гораздо труднее. В противоположность миссионерам, ни в какого Бога он не верил, и поэтому ему не на что было опираться в своей нелегкой работе. Однажды во время приема, когда Куэрри позволил себе какое-то замечание о его образе жизни (поводом для этого послужил несчастный больной с застарелой проказой), доктор пригляделся к нему с той же профессиональной пытливостью, с какой только что смотрел на пациента. Он сказал:

— Если бы я сейчас взял у вас соскоб, мы получили бы, пожалуй, вторичный отрицательный результат.

— Не понимаю.

— Вы проявили интерес еще к одному человеку.

— А кто был первым? — спросил Куэрри.

— Део Грациас. А знаете, в выборе призвания я оказался удачливее вас.

Куэрри посмотрел на длинный ряд рваных матрацев, на которых в неудобных позах лежали больные, все забинтованные. В воздухе стоял сладковатый запах струпной кожи.

— Удачливее? — переспросил он.

— Только очень сильная натура может выдержать призвание, которое требует от человека погружения в самого себя и остается с ним один на один. Вы, по-моему, оказались недостаточно сильным. И меня бы тоже на это не хватило.

— А почему человек избирает такое призвание, как ваше? — спросил Куэрри.

— Он сам тут в роли избранника. Не Божьего, конечно! Все решает случай. Один старый врач в Дании — он и сейчас не сложил оружия — стал лепрологом на склоне лет. Совершенно случайно. Производил раскопки на заброшенном кладбище и обнаружил там скелеты без кистевых фаланг, оказалось, что кладбище это четырнадцатого века, хоронили на нем прокаженных. Старик сделал рентгеновские снимки скелетов и открыл в костяке, особенно в носовой полости, вещи, нам совершенно неизвестные. Ведь большинство из нас не имеют возможности работать на скелетах. После этого он стал лепрологом. Его можно встретить на любой международной конференции по лепре с небольшой сумкой в руках — знаете, какие выдают в самолетах, и в этой сумке лежит череп. Представляете себе, у скольких таможенников он побывал в руках? Они, наверно, каждый раз шарахаются от этого черепа, но пошлой его, кажется, не облагают.

— А вы, доктор Колэн? Какой случай решил вашу судьбу?

— У меня в роли случая, видимо, выступил темперамент, — уклончиво ответил доктор.

Они вышли из больницы на воздух, влажный, ничуть не освежающий.

— Только поймите меня правильно. Я вовсе не рвался к смерти, как отец Дамьен. Теперь, когда лепра излечима, мы все реже и реже будем встречаться с людьми, которые сопрягают свое призвание с обреченностью, а в прежние времена это было довольно частое явление.

Они шли в тень, падавшую от здания больницы, где на ступеньках, ожидая приема, сидели прокаженные. Доктор остановился посреди дороги, на раскаленном латерите.

— Раньше процент самоубийств среди лепрологов был довольно велик. Они, вероятно, не выдерживали ожидания того самого анализа, который, как им казалось, должен был дать положительные результаты. Необычное призвание вело к не совсем обычным способам самоубийства. Одна человек — я его хорошо знал — сделал себе инъекцию змеиного яда, а другой облил керосином мебель в комнате и одежду и потом поджег самого себя. Как вы, вероятно, заметили, обоим этим способам присуща одна общая черта — ненужные муки. На это тоже идут по призванию.

— Что-то я не понимаю вас.

— Разве страдать не лучше, чем терпеть неудобства? Физическое неудобство раздражает наше «я», как комариный укус. Чем нам неудобнее, тем больше мы ощущаем самих себя, а страдания — это совсем другое дело. Мне иной раз кажется, что тяга к страданиям и память о перенесенных страданиях — это единственная для нас возможность слиться с условиями бытия человеческого. Страдания приобщают нас к христианскому мифу.

— Тогда научите меня страдать, — сказал Куэрри. — А то мне причиняют боль только комариные укусы.

— Если мы проторчим здесь еще хоть минуту, тогда вы узнаете, что такое страдание, — сказал доктор и потянул Куэрри в тень. — Сегодня я покажу вам несколько интересных случаев поражения глаз.

Он подсел к столу с хирургическими инструментами, и Куэрри поставил свой стул рядом. Такие ярко-красные глаза, какие сейчас смотрели на них, Куэрри видел только на детских рождественских масках из холстины, изображающих скрягу или дряхлого старца.

— Потерпите немножко, — сказал доктор Колэн, — обрести страдания не так трудно, — и Куэрри стал вспоминать, кто же это ответил ему почти теми же словами несколько месяцев назад? Собственная забывчивость рассердила его.

— А не слишком ли вы легковесно отзываетесь о страданиях? — сказал он. — Женщина, которая умерла на прошлой неделе...

— Не сокрушайтесь о тех, кто умирает в муках. От мук хочется поскорее уйти. А вот какво выслушать смертный приговор, когда ты здоров и полон сил.

Доктор Колэн отвернулся и заговорил на местном диалекте со старухой, лепрозные веки которой ни на миг не смыкались над глазными яблоками.

В тот вечер, поужинав с миссионерами, Куэрри пошел к домику доктора. Прокаженные сидели у своих хижин, стараясь надышаться прохладой, наступившей с темнотой. На маленьком столике при свете фонаря «молния» какой-то человек торговал гусеницами, собранными в лесу, — пять франков за пригоршню. На соседней улице кто-то тянул песню, а потом Куэрри увидел у костра группу молодежи, танцующую вокруг его боя Део Грациаса, который, присев на корточки, ритмически постукивал своими культами, точно барабанными палочками, по старой канистре из-под керосина. Лопухие собаки — и те, как надгробные изваяния, неподвижно лежали на земле. Молодая женщина с обнаженной грудью прохаживалась по тропинке, уводившей в лес. Лунный свет ненадолго снял язвы у нее с лица, очистил кожу от пятен. Девушка, как любая другая, пришла на свидание, ждет мужчину.

После взрыва, на который его вызвал англичанин, Куэрри не переставало казаться, будто из его организма выкачали стойкий яд. Он не помнил такого чувства вечернего покоя с той самой минуты, когда последние штрихи легли на его первый проект — может быть, единственный, принесший ему полное удовлетворение. Заказчики, конечно, изуродовали эту постройку, как уродовали в дальнейшем все его работы. Разве здание убережешь от обстановки, от картин, от людей, которых оно должно будет со временем вместить? Но до всего этого был вот точно такой же покой. *Consummatum est*^[46], боль миновала, и покой охватывает тебя, как короткое забвение.

После второго стакана виски он спросил доктора:

— Если анализ соскоба дает отрицательный результат, это уже твердо?

— Нет, не всегда. Выпускать пациента на волю можно только после повторных анализов в течение... да, в течение полугода, никак не раньше. Рецидивы случаются даже при современных лечебных средствах.

— А бывает так, что им трудно возвращаться на волю?

— Бывает, и очень часто. Они ведь привязываются к своей хижине, к своему маленькому участку земли, а увечным вообще на воле жить нелегко. Их уродства — это явные всем стигмы проказы. Люди думают: прокаженного только могила исцелит.

— Я, пожалуй, начинаю понимать ваше призвание. И все же... Миссионеры верят, что за ними стоит истина христианства, и это облегчает им жизнь в таких местах. У нас с вами этой опоры нет. Может быть, вам достаточно христианского мифа, о котором вы говорили.

— Я хочу быть там, где жизнь меняется, — сказал доктор. — Если б мне пришлось родиться амебой, наделенной способностью мыслить, я мечтал бы о том дне, когда на земле появятся приматы. И старался бы способствовать наступлению этого дня всем, чем могу. Насколько мы можем судить, эволюция в конце концов обосновалась в человеческом мозгу. Муравей, рыба и даже обезьяна дошли до определенной точки и дальше двинуться не смогут, а что делается у нас в мозгу, боже мой! Мы эволюционируем, и с какой стремительностью! Не помню, сколько сотен миллионов лет пролегло между динозавром и приматами, но в наше время, на нашей памяти совершился переход от дизеля к реактивному самолету, люди расщепили атом, научились лечить проказу!

— И вы считаете, что все эти перемены к лучшему?

— Они неизбежны. Нас несет на гребне могучего девятого вала эволюции. Христианский миф тоже влился в этот вал, и, кто знает, может быть, он и есть самая ценная его часть. Что, если любовь станет развиваться в нас с такой же быстротой, с какой развивается наша техника? В отдельных случаях, может, так и было. Скажем, у святых... у Христа, если такой действительно существовал.

— И вы способны находить утешение во всем этом? — спросил Куэрри, — Мотив-то не новый — все та же старая песенка о прогрессе.

— Девятнадцатый век не так уж заблуждался, как нам хочется думать. Наше скептическое отношение к прогрессу вызвано теми мерзостями, которые за последние сорок лет люди проделывали у нас на глазах. Но тем не менее, пробуя, ошибаясь, двигаясь вперед ощупью, амеба все-таки стала обезьяной. Фальстарты и неправильные повороты были, очевидно, и в те

времена. И сегодня эволюция может породить как гитлеров, так и Иоанна Крестителя. Просто я лелею крохотную надежду, совсем крохотную, что тот, кого называют Христом, был плодоносящим началом, и оно искало трещинку в стене, куда можно заронить семечко. Для меня Христос — это амеба, сделавшая правильный поворот. Я хочу быть там, где прогресс движется вперед, а не сворачивает на полпути в сторону. Птеродактили мне не симпатичны.

— А если мы не способны любить?

— Вряд ли такие люди существуют. Любовь уже заложена в человеке, в некоторых случаях даже в виде эдакого бесполезного придатка, вроде аппендикса. Впрочем, иногда любовь называют ненавистью.

— У себя я и следов ее не обнаружил.

— А может быть, вы ищете чего-то очень уж большого и очень уж значительного? Или очень действенного.

— На мой взгляд, в ваших убеждениях ничуть не меньше суеверия, чем в религиозном кредо наших миссионеров.

— Ну и что ж. Этим суеверием я живу. Было еще такое суеверие — никем не подтвержденное, что Земля движется вокруг Солнца. Им страдал Коперник. Не будь этого суеверия, мы не смогли бы теперь запускать ракеты в сторону Луны. Суевериями надо уметь спекулировать. Как это делал Паскаль. — Он допил виски.

— Вам хорошо? Вы довольны своей жизнью? — спросил Куэрри.

— Как будто да. Я что-то никогда не задавался таким вопросом. Разве те, кому хорошо, задумываются над собой? Живешь день за днем.

— Доверяетесь волне, которая вас несет, — с завистью сказал Куэрри. — А женщина вам не бывает нужна?

— Та единственная, которая была нужна мне, — сказал доктор, — умерла.

— Вот почему вы сюда приехали.

— Ошибаетесь, — сказал Колэн. — Ее могила в ста ярдах отсюда. Она была моей женой.

Глава вторая

За последние три месяца строительство больницы сильно двинулось вперед. Строительная площадка уже не была похожа на раскопки древней римской виллы — поднялись стены, оконные проемы дождались проволочных сеток. Теперь уже можно было высчитать, когда начнут крыть крышу. Видя, что дело идет к концу, прокаженные приналегли на работу. Куэрри шел по недостроенному зданию вместе с отцом Жозефом, они, точно призраки, проходили сквозь несуществующие двери, проникали в помещения, которых еще не было: в будущую операционную, в рентгеновский кабинет, в комнату, где со временем поставят бачки с парафином для изъязвленных рук, в диспансер, в обе главные палаты.

— Что вы будете делать, — спросил отец Жозеф, — когда мы тут все кончим?

— А вы, отец?

— Вообще-то все зависит от настоятеля и доктора, но мне хотелось бы построить школу, где увечные могли бы учиться ремеслам. Если не ошибаюсь, это называется курс восстановительной терапии. Сестры проводят кое с кем индивидуальные занятия, но африканцы, и в особенности увечные, не так уж жаждут, чтобы в них видели отдельных индивидуумов. Выделяться из массы никому не хочется. На общих занятиях, когда можно и посмеяться и пошутить, они бы усвоили все гораздо быстрее.

— Ну а потом куда бы вы пошли?

— На ближайшие двадцать лет строительной работы хватит, и даже если будем строить одни уборные.

— Ну, тогда и я, отец, не останусь без дела.

— Архитектора жалко использовать не по назначению. Ведь у нас простые строительные работы, и больше ничего.

— Я теперь тоже строитель.

— Разве вам не хочется еще разок повидать Европу?

— А вам, отец?

— Я дело другое. Членам нашего Ордена почти все равно где жить, что в Европе, что здесь: несколько домиков, очень похожих на здешние, такие же в них комнаты, такая же часовня (даже распятия одинаковые), те же классы, та же еда, одежда и такие же лица вокруг. Но ведь для вас Европа это нечто гораздо большее — для вас это театры, друзья, рестораны, бары, книги, магазины, общество равных вам. Там вы будете, как говорится, пожинать славу.

Куэрри сказал:

— Я доволен своей жизнью здесь.

Близилось время обеда, и они пошли к миссии мимо дома, где жили монахини, мимо домика доктора, мимо убогого маленького кладбища. За кладбищем следили плохо — служение живым отнимало у миссионеров слишком много времени. О могилах вспоминали только в день поминовения усопших, и тогда на каждой, будь она языческая или христианская, вечером горела свеча или фонарь. Приблизительно у половины могильных холмиков были кресты — простые и все одинаковые, как на братских могилах солдатских кладбищ. Теперь Куэрри знал, где лежит мадам Колэн. На ее могиле креста не было, и она немного отстояла от других, но такая обособленность объяснялась только тем, что рядом с ней когда-нибудь должен был лечь и сам доктор.

— Надеюсь, вы тут и для меня найдете местечко, сказал Куэрри. — Стоить будет недорого — креста не понадобится.

— С отцом Тома это так просто не уладишь. Он будет доказывать, что, поскольку вас крестили, вы христианин на веки вечные.

— Значит, придется умирать до его возвращения.

— Тогда поторапливайтесь. Он, того и гляди, пожалует.

Миссионерам и тем дышалось свободнее без отца Тома, этот человек был до такой степени всем неприятен, что даже вызывал к себе жалость.

Слова отца Жозефа оказались пророческими. Занятые осмотром новой больницы, они пропустили мимо ушей звон колокола с парохода ОТРАКО. Отец Тома уже был на берегу с картонной коробкой, заменявшей ему чемодан. Он поздоровался с ними, стоя у входа в свою комнату, как-то необычно, взволнованно, точно хозяин, встречающий гостей.

— Как видите, отец Жозеф, я вернулся раньше времени.

— Да, видим, — сказал отец Жозеф.

— А, мосье Куэрри! Мне надо поговорить с вами об одном очень важном деле.

— Да?

— Все в свое время. Терпение, терпение. За мое отсутствие произошло столько нового.

— Не мучайте нас неизвестностью! — сказал отец Жозеф.

— За обедом, за обедом, — ответил отец Тома и, точно дароносицу, подняв над головой картонную коробку, вошел с ней к себе.

В окне соседней комнаты они увидели настоятеля. Он совал головную щетку, клеенчатый мешочек с губкой и ящик сигар в рюкзак цвета хаки, который сохранился у него с последней войны и, в качестве воспоминания, последовал за ним на другой конец света. Он снял распятие со стола и, обернув его носовыми платками, тоже положил в рюкзак. Отец Жозеф сказал:

— Что-то мне все это не нравится.

За обедом настоятель молчал и о чем-то сосредоточенно думал. Отец Тома сидел справа от него. Он крошил кусок хлеба с непроницаемым, значительным видом. Настоятель заговорил, только когда обед кончился. Он сказал:

— Отец Тома привез мне письмо. Епископ вызывает меня в Люк. Я могу пробыть в отлучке несколько недель и даже месяцев и потому прошу отца Тома заместить меня на время моего отсутствия. Вы, отец, единственный, — добавил он, — у кого найдется время на возню с отчетами.

Это должно было служить извинением перед остальными миссионерами и завуалированным упреком по адресу отца Тома, который уже успел возомнить о себе. В нем не осталось почти ничего общего с тем неуверенным, жалким существом, каким он был всего месяц назад. Видимо, повышение в должности, даже временное, служит хорошим тонизирующим средством, когда человек начинает выдыхаться.

— Можете быть уверены, все будет в порядке, — сказал отец Тома.

— Я уверен в каждом из вас. Моя работа здесь самая маловажная. Вот отец Жозеф строит больницу, брат Филипп следит за динамо, а я ни того, ни другого не умею.

— Постараюсь, чтобы мои школьные дела не пострадали от этого, — сказал отец Тома.

— Я уверен, что вы со всем справитесь, отец. Мои обязанности отнимут у вас не так уж много времени, вы сами в этом убедитесь. Начальник — при всех обстоятельствах лицо заменимое.

Чем беднее наша жизнь, тем больше мы страшимся перемен. Настоятель прочел молитву и огляделся по сторонам в поисках своих сигар, но они были уже в рюкзаке. Он закурил сигарету, предложенную Куэрри, и она «сидела» на нем так же неуклюже, как если бы ему пришлось сменить сутану на обычный мужской костюм. Миссионеры, не привыкшие к проводам, стояли грустные. Куэрри чувствовал себя посторонним, попавшим в чужой дом, когда там горе.

— Больницу, наверно, достроят раньше, чем я вернусь, — печально проговорил настоятель.

— Конек без вас ставить не будем, — ответил отец Жозеф.

— Нет, нет! Обещайте ничего из-за меня не откладывать. Отец Тома, вот вам мое последнее наставление: конек ставьте без промедлений и отпразднуйте это событие шампанским... если найдете жертвователя.

Тихое, однообразное житье-бытье заставляло их забывать на долгие годы, что они здесь на послушании, но сейчас это сразу вспомнилось. Кто знает, что ждет настоятеля, какой обмен письмами мог произойти между епископом и начальством в Европе? Настоятель рассчитывал вернуться через несколько недель (епископ, пояснил он, хочет о чем-то посоветоваться с ним), но все они отлично понимали, что его могут и вовсе не вернуть сюда. Может быть, где-то уже принято решение об этом. Они не выказывали своих чувств и только с душевной любовью смотрели на него, как смотрят на умирающего (все, кроме отца Тома, который уже пошел перетаскивать свои бумаги в настоятельский кабинет), и настоятель тоже смотрел на них и на стены уютной трапезной, где прошли его лучшие годы. Отец Жозеф говорил правильно: куда ни поедешь, жилье всюду одинаковое, трапезные отличаются одна от другой не больше, чем колониальные аэровокзалы, но именно поэтому человек и отмечает малейшие различия между ними. Всюду и везде на стене будет висеть цветная репродукция портрета папы, но вот у этой в правом уголке коричневое пятно, потому что прокаженный, который окрашивал рамку, нечаянно мазнул тут кистью. Стулья в трапезной тоже были сделаны прокаженными по тому казенному образцу, который полагается в учреждениях мелким служащим. Такие тоже можно было увидеть в каждой миссии, но один из здешних стульев считался ненадежным; с тех пор как приезжий миссионер, отец Анри, попытался проделать на нем цирковой номер с балансированием на спинке, его всегда отставляли к стене. Даже книжный шкаф отличался своим особым недостатком: верхняя полка у него была немного перекошена, а рядом на стене виднелись пятна, которые напоминали каждому что-то свое. На других стенах и пятна будут похожи на что-то другое. Куда ни переберешься, имена у твоих коллег почти те же (популярных святых, в честь которых чаще всего называют, не так уж много), но тамошний отец Жозеф будет не совсем таким, как здешний.

С реки донесся зов пароходного колокола. Настоятель вынул сигарету изо рта и посмотрел на нее, будто недоумевая, как она туда попала. Отец Жозеф сказал:

— Надо бы выпить вина.

Он искал в буфете и вынул оттуда бутылку, уже наполовину распитую несколько недель назад по случаю праздника. Все-таки каждому по наперстку хватило.

— Bon voyage^[47], отец.

Пароходный колокол ударил еще раз. Отец Тома заглянул в дверь и сказал:

— А не пора ли, отец?

— Да. Только схожу за своим рюкзаком.

— Вот он, — сказал отец Тома.

— Ну, тогда... — Настоятель украдкой снова оглядел комнату: пятно на портрете, сломанный стул, кривая полка.

— Благополучного возвращения, — сказал отец Поль. — Я пойду позову доктора Колэна.

— Нет, нет, он сейчас отдыхает. Мосье Куэрри объяснит ему, почему так получилось.

Они пошли проводить его до берега, рюкзак нес отец Тома. У сходней настоятель взял его и перекинул за спину привычным солдатским движением. Он тронул отца Тома за локоть:

— По-моему, бухгалтерия у меня должна быть в порядке. В следующем месяце постарайтесь задержать отчеты как можно дольше... а вдруг я вернусь.

Он неуверенно помолчал и добавил с извиняющейся улыбкой:

— Берегите себя, отец Тома. Постарайтесь без излишней экзальтации.

И через несколько минут пароход и река увезли его от них.

Отец Жозеф и Куэрри вместе возвращались домой. Куэрри спросил:

— Почему он выбрал именно отца Тома? Любой из вас живет здесь гораздо дольше его.

— Как настоятель сказал, так оно и есть. Мы все выполняем определенные обязанности, но, откровенно говоря, отец Тома единственный среди нас, кто хоть что-то смыслит в счетоводстве.

Куэрри лег в постель. В это время дня из-за жары нельзя было ни работать, ни даже спать, разве только по несколько минут, неглубоким сном. Ему приснилось, будто он уезжает вместе с настоятелем, но во сне они ехали почему-то не к Люку, а в обратную сторону. Пароход шел по сужающемуся руслу, все дальше и дальше забираясь в гущу джунглей, и теперь это был не пароход, а епископская баржа. В епископской каюте лежал покойник, и они с настоятелем везли его хоронить в Пенделэ. Удивительно, откуда он взял тогда, что лепрозорий самая крайняя точка для епископской баржи? Ведь сейчас он едет на ней все дальше и дальше в глубь страны.

Его разбудил скрип стула. Наверно, это баржа задела днищем подводную корягу. Он открыл глаза и увидел отца Тома, который сидел возле его кровати.

— Я не хотел вас будить, — сказал отец Тома.

— Я не спал, так — дремал немножко.

— Один ваш друг просил меня кое-что передать вам, — сказал отец Тома.

— У меня нет друзей в Африке, кроме тех, что я нашел здесь.

— У вас их больше, чем вы думаете. Я говорю о мосье Рикэре.

— Рикэра я своим другом никогда не считал.

— Да, верно, это человек немножко несдержанный, но перед вами он просто преклоняется. Его жена что-то ему рассказала, и он теперь жалеет, что говорил о вас с английским журналистом.

— Значит, жена гораздо умнее его.

— К счастью, все получилось как нельзя лучше, — сказал отец Тома, — и этим мы обязаны мосье Рикэру.

— Как нельзя лучше?

— Англичанин написал о вас просто великолепно и о нас тоже.

— Как, уже?

— Первый очерк он передал из Люка по телеграфу. Мосье Рикэр ходил на почту вместе с ним. Он поставил условием, что ему дадут прочитать написанное. Мосье Рикэр, конечно, не пропустил бы ничего такого, что могло бы повредить нам. Ваша работа там просто превозносится. Первый очерк уже появился на французском языке в «Пари-диманш».

— В этой газетенке?

— У нее широкий круг читателей, — сказал отец Тома.

— Она печатает одни сплетни!

— Тем не менее там все-таки заинтересовались вашим посланием, а это делает им честь.

— Каким посланием? О чем вы?

Он резко повернулся на другой бок и лег лицом к стене, чтобы не видеть подобострастно-взвешивающего взгляда отца Тома. Зашуршала бумага — отец Тома вынимал что-то из кармана сутаны. Он сказал:

— Разрешите мне прочитать вам оттуда. Уверяю вас, вы получите большое удовольствие. Очерк называется «Зодчий душ человеческих. Отшельник с берегов Конго».

— Набор слов! Тошно слушать! Право, отец, писания этого человека меня совершенно не интересуют.

— Вы слишком суровы к нему. А я очень жалею, что не успел показать эту вырезку настоятелю. Тут слегка перепутано название нашего Ордена, но чего же еще ждать от англичанина? Послушайте хотя бы самый конец. «Когда один знаменитый политический деятель Франции уединился в глуши, сложив с себя бремя государственных забот, мир протоптал дорогу к его двери».

— Он все путает, — сказал Куэрри. — Решительно все. Это был писатель, а не политический деятель. И писатель американский, а не французский.

— Зачем же придирается к мелочам? — укоризненно проговорил отец Тома. — Слушайте дальше: «Весь католический мир обсуждал таинственное исчезновение знаменитого архитектора Куэрри. Того самого Куэрри, творческий диапазон которого простирается от современного храма, построенного им в Соединенных Штатах, — настоящего дворца из стекла и стали, до крохотной белой доминиканской капеллы на Лазурном берегу...»

— Теперь он путает меня с этим дилетантом Матиссом^[48], — сказал Куэрри.

— Не обращайтесь внимания на мелочи.

— Я надеюсь, в ваших же интересах, что евангелисты были повнимательнее к мелочам, не то что мистер Паркинсон.

— «Знаменитого архитектора уже давно не видели в тех ресторанах, где он был завсегдатаем. Я выслеживал его от любимого им „Седла барашка“...»

— Это же несусветная чепуха! За кого он меня принимает — за гурманствующего туриста, что ли?

— «...до самого сердца Африки. Недалеко от тех мест, где Стэнли, окруженный дикими племенами, когда-то разбил свой лагерь, след Куэрри наконец-то отыскался».

Отец Тома поднял голову и сказал:

— Вот тут он в самых лестных словах отзывается о нашей работе. «Самоотверженность... беззаветное служение делу... белоснежные одежды, беспорочная жизнь». По-моему, у него определенно есть чувство стиля. «Что подвигло великого Куэрри пожертвовать карьерой, которая принесла ему славу и богатство, и посвятить себя служению неприкасаемым? Я был не в силах задать ему этот вопрос, ибо, когда мои поиски подошли к концу, меня в бессознательном состоянии, в сильнейшем приступе лихорадки, снесли на берег из пироги — утлой скорлупки, в которой я проник в те места, что Джозеф Конрад^[49] назвал „Сердцем Тьмы“. Своим спасением я обязан горстке верных туземцев, сопровождавших меня в моем путешествии по Великой реке и выказавших мне такую же преданность, с какой их деды служили Стэнли».

— Дался ему этот Стэнли, — сказал Куэрри. — Сколько путешественников побывало в Центральной Африке, но англичане, видно, больше ни о ком не слышали.

— «Когда я очнулся, пальцы Куэрри нащупывали мой пульс, глаза Куэрри не отрывались от моих глаз. И тут я понял, что этого человека окружает великая тайна».

— Неужели вам в самом деле нравится эта белиберда? — спросил Куэрри. Он рывком поднялся и сел на кровати.

— Жития многих святых написаны гораздо хуже, — сказал отец Тома. — Стиль дела не решает. Намерения у него были благие. Может, не вам об этом судить? Слушайте дальше: «О существовании этой тайны я услышал из уст самого Куэрри. Хотя говорил он со мной так, как, может статься, ему никогда ни с одной душой человеческой не приходилось говорить, — столько жгучего раскаяния и сожалений о прошлом, не менее колоритном и озорном, чем прошлое святого Франциска, проведшего юность в темных закоулках городка на реке Арне...» Как жалко, — грустно сказал отец Тома, — что меня не было, когда вы все это рассказывали. Следующий абзац я опускаю, там главным образом о прокаженных. Он, видимо, заметил только увечных, что очень жаль, так как это создает довольно мрачное представление о нашей жизни здесь.

В роли настоятеля отец Тома был более благосклонен к миссии, чем месяц назад.

— А вот тут он, по его собственному выражению, подходит к самой сути дела. «Разгадку тайны мне поведал ближайший друг Куэрри — некто Андрэ Рикэр, управляющий местной пальмовой

плантацией. Это, видимо, очень похоже на Куэрри: из скромности таиться от миссионеров, давших ему работу здесь, и с такой готовностью открыть душу этому плантатору — человеку, которого вы меньше всего ожидали бы видеть в роли ближайшего друга великого архитектора. „Хотите знать, какая им движет пружинка? — спросил меня мосье Рикэр. — Любовь, беззаветная, самоотверженная любовь, не ведающая ни барьеров классовых различий, ни разницы в цвете кожи. Мне не приходилось встречать человека, столь умудренного в вопросах веры. Вот за этим самым столом мы допоздна сидели с великим Куэрри и говорили о природе божественной любви“. Как видите, обе половины этой странной природы смыкаются: мне Куэрри рассказывал о женщинах, которых он любил в Европе, а своему другу на фабрике, затерянной в джунглях, — о любви к Богу. В век атома миру нужны святые. Когда один знаменитый политический деятель Франции уединился в глуши, сложив с себя бремя государственных забот, мир протоптал дорогу к его двери. И мир, который отыскал Швейцера в Ламберне, безусловно сумеет найти путь и к отшельнику с берегов Конго». По-моему, без упоминания о святом Франциске вполне можно было обойтись, — сказал отец Тома. — Чего доброго, истолкуют как-нибудь неправильно.

— Сколько же тут вранья! — воскликнул Куэрри. Он встал с кровати и подошел к чертежной доске с наколотым на нее листом ватмана. Он сказал: — Я не допущу, чтобы этот человек...

— Что вы хотите? Журналист, — сказал отец Тома. — Такие преувеличения у них в порядке вещей.

— Я не о Паркинсоне. Для него это работа. Рикэр — вот я о ком. Я никогда не говорил с Рикэром ни о любви, ни о Боге.

— А он мне рассказывал, что у вас с ним была однажды очень интересная беседа.

— Беседы никогда не было. Какая же это беседа, когда человек говорит один?

Отец Тома посмотрел на газетную вырезку.

— Оказывается, через неделю будет второй очерк. Вот тут сказано: «В следующем выпуске: Святой с прошлым. Искупление через муки. Прокаженный, заблудившийся в джунглях». Это, наверно, про Део Грациаса, — сказал отец Тома. — И фотография есть: англичанин разговаривает с Рикэром.

— Дайте.

Куэрри разорвал вырезку на мелкие клочки и бросил их на пол. Он сказал:

— Дорога сейчас проезжая?

— Когда я уезжал из Люка, была проезжая. А что?

— Тогда я возьму грузовик.

— Куда это вы?

— Побеседовать кое о чем с Рикэром. Неужели вы не понимаете, отец, что его надо заставить замолчать? Так дальше не может продолжаться. Я борюсь за свою жизнь.

— За жизнь?

— Да, за жизнь здесь. Это все, что у меня теперь есть. Он устало опустился на кровать.

Он сказал:

— Я так долго сюда добирался. Если придется уезжать отсюда, куда я денусь?

Отец Тома сказал:

— Да, для хорошего человека слава — вещь нелегкая.

— Я совсем не такой, каким вы меня считаете, отец. Поверьте же мне! Неужели вам тоже надо все исказить? Мало, что ли, Рикэра и того, другого? Я приехал сюда не из добрых побуждений. Я забочусь только о себе и всегда заботился только о себе, но даже себялюбиец вправе искать хоть каплю покоя в жизни.

— Ваша скромность поистине достойна удивления, — сказал отец Тома.

Часть VI

Глава первая

1

Мари Рикэр перестала читать «Подражание Христу», как только увидела, что муж заснул, но встать со стула было все еще опасно, это могло разбудить его, да и кто знал — вдруг он притворится и хочет застичь ее врасплох? Ей уже слышался его укоризненный голос: «Неужели ты не могла один час бодрствовать со мной?» — ибо иной раз подражание Христу заводило ее супруга довольно далеко. Его пустопорожнее лицо было повернуто к стене, глаз не видно. Она подумала: пока он хворает, можно не говорить ему, и это не будет нарушением долга, потому что больных нельзя беспокоить неприятными вестями. Сквозь проволочную сетку в окно потянуло прогорклым маргарином — запахом, который неизменно связывался у нее с супружеской жизнью, а с того места, где она сидела, ей было видно, как в машинном отделении засыпают в топку скорлупу от пальмового ореха.

Ей стало стыдно своих страхов и чувства томительной скуки и тошноты. Она прекрасно знала, что *colon* не подобает так вести себя, ибо она выросла в колониетской семье. Ее отец служил в той же фирме, что и муж, в качестве, так сказать, странствующего ее представителя, а так как его жена не отличалась крепким здоровьем, он отослал ее рожать домой, в Европу. Мать воевала, не желая уезжать, потому что она была настоящая *colon* и дочь *colons*. Это слово, произносимое в Европе так пренебрежительно, считалось у самих *colons* почетным званием. Приезжая в Европу, они и там держались друг друга, ходили в одни и те же рестораны и кафе, хозяева которых в прошлом сами были *colons*, и снимали виллы на время отпуска на одних и тех же курортах. Сидя под сенью пальм в горшках, жены ждали, когда их мужья вернутся из страны пальм, они играли в бридж и читали друг другу письма своих мужей, передававших им сплетни из тамошней жизни. На конвертах этих писем марки были яркие, со зверями, цветами, птицами, почтовые штемпеля — с названиями разных экзотических мест. Мари начала собирать их с шести лет, но так как она сохраняла и конверты со штемпелями, то свою марочную коллекцию ей приходилось держать не в альбоме, а в шкатулке. На одном из конвертов стоял штемпель города Люк. Можно ли было тогда предвидеть, что наступит время, когда она будет знать Люк гораздо лучше, чем свою Рю-де-Намюр!

С нежностью, вызванной чувством вины, и даже не побоявшись разбудить мужа, Мари вытерла

ему лицо носовым платком, смоченным в одеколоне. Она считала себя только подделкой под colon. Это было все равно что изменить своей стране — грех особенно тяжкий, когда твоя страна так далеко и ее предадут поруганию.

Из сарая вышел рабочий и помочился у стены. Повернувшись, он поймал на себе ее взгляд. Но, разделенные всего несколькими ярдами, они смотрели друг на друга точно в телескопы, с огромного расстояния. Она вспомнила завтрак у моря, и бледное европейское солнце на воде, и ранних купальщиков, а отец учил ее, как на языке монго «хлеб», «кофе» и «джем». Кроме этих трех слов, она ничего больше на языке монго не выучила. Но «кофе», «хлеб», «джем» — разве таким запасом обойдешься? У нее и у этого человека нет средств общения друг с другом, она даже не может выругать его, как выругали бы отец и муж, пустив в ход понятные ему слова. Он повернулся и ушел в сарай, а она снова почувствовала, как одиноко живет, когда изменяешь этой стране colons. Если б можно было попросить прощения у старика отца, который жил там — дома; не ставить же ему в вину все те марки и почтовые штемпеля. Ее матери так хотелось остаться с ним. Она не понимала, как ей повезло, что у нее было слабое здоровье. Рикэр открыл глаза и спросил:

— Который час?

— Что-то около трех.

Он тут же заснул, не услышав ответа, а она так и осталась сидеть у его постели. Во дворе к сараю задним ходом подавали грузовик. Он был до верху нагружен пальмовыми орехами, которые шли и под пресс и в топку. Орехи были похожи на ссохшиеся человеческие головы — урожай дикарского побоища. Она попыталась читать дальше и не смогла — на «Подражании Христу» сосредоточиться было трудно. Раз в месяц ей присылали очередной выпуск «Мари Шанталь», но читать их приходилось тайком, когда Рикэр был занят, так как он относился с презрением к тому, что у него называлось «дамским чтивом», и осуждал пустую мечтательность. А что ей было делать, как не мечтать? В форму мечтаний облекались надежды, но она прятала их от него, как прятали на себе ампулы с ядом бойцы Соппротивления. Ей не верилось, что это конец — так и будешь стареть, без людей, с глазу на глаз с мужем, так и будет запах маргарина, черные лица кругом, двор, заваленный металлическим ломом, и жара, влажная жара. Она ждала каждый день: вот по радио раздастся какой-то сигнал и пробьет час ее освобождения. И иногда ей казалось, что ради освобождения она не отступит ни перед чем.

«Мари Шанталь» доставляли наземной почтой, выпуски запаздывали на два месяца, но это было не важно, ибо романы с продолжениями, как и прочие виды литературы, — ценности непреходящие. В том, который она теперь читала, одна девушка пришла в «Salle Privee» в Монте-Карло и поставила 12 000 франков, последние свои деньги, на цифру 17. И вдруг чья-то рука протянулась из-за ее плеча и, не дожидаясь, когда шарик остановится, переставила жетон с цифры 17 на 19. Не прошло и секунды, как шарик упал в ячейку под цифрой 19, и девушка оглянулась — кто же он, ее благодетель?.. Но узнать это можно будет не раньше, чем через три недели. Он ехал к ней почтовым пароходом вдоль Западного побережья Африки, но и добравшись до Матади, еще долго-долго будет плыть оттуда рекой. Во дворе залаяли собаки, и Рикэр проснулся.

— Посмотри, кто там, — сказал он, — Но в дом не пускай.

Она услышала, как во двор въехала машина. Должно быть, это представитель пивоваренного завода — одного из двух, которые конкурируют между собой. Каждый из них по три раза в году объезжал дальние поселения и, созвав жителей во главе с вождем, угощал всех бесплатно

пивом своего завода. Считалось, непонятно почему, что это мероприятие должно способствовать увеличению спроса.

Когда она вышла во двор, «сушеные головы» лопатами сбрасывали с грузовика. В кабине небольшого «пежо» сидели двое. Один был африканец, второго она не могла разглядеть, потому что солнце, бившее в ветровое стекло, ослепило ее, но она услышала, как он сказал:

— Мои дела здесь много времени не займут. К десяти поспеем в Люк.

Она подошла к дверце кабины и увидела, что это Куэрри. Ей вспомнилась позорная сцена несколько недель назад, когда она в слезах бежала к своей машине. Ту ночь она провела в лесу у дороги, предпочитая быть изъеденной москитами, чем встретить кого-нибудь, кто, может быть, тоже презирает ее мужа.

Она подумала с чувством благодарности: «Сам приехал. Тогда у него было просто дурное настроение, это safard^[50] в нем говорила, а не он». Ей захотелось пойти к мужу и сказать ему, что приехал Куэрри, но она вспомнила: «В дом не пускай».

Куэрри вылез из грузовика, и она увидела, что бой, который приехал с ним, увечный. Она спросила:

— Вы к нам? Мой муж будет очень рад...

— Я еду в Люк, — ответил Куэрри, — но сначала мне нужно кое-что сказать мосье Рикэру.

Он чем-то напомнил ей мужа — иногда у него бывало точно такое же выражение лица. Если ту оскорбительную фразу ему продиктовала safard, значит, он и сейчас во власти этой safard.

Она сказала:

— Муж болен. К нему нельзя.

— А мне нужно. Я потерял три дня на дорогу и...

— Скажите мне. — Он стоял у дверцы кабины. — Разве через меня нельзя передать?

— Нет, женщину я не смогу ударить, — сказал Куэрри. Судорога, вдруг передернувшая ему рот, поразила ее. Может быть, он пытался смягчить свой ответ, но от этой улыбки его лицо показалось ей еще уродливей.

— И только за этим вы и приехали?

— Более или менее, — сказал Куэрри.

— Тогда пойдете.

Она шла медленно, не оборачиваясь. Ей казалось, будто сзади нее идет вооруженный дикарь, которому и виду нельзя подавать, что ты его боишься. Только бы дойти до дому — там она будет в безопасности. У людей их круга драки обычно происходят под открытым небом, кушетки и безделушки не способствуют оскорблению действием. В дверях она чуть было не поддавалась искушению убежать в свою комнату, бросив больного на милость Куэрри, но, представив себе, что Рикэр скажет после его отъезда, только покосилась в конец коридора, где была безопасная зона, и, свернув влево к веранде, услышала за собой шаги Куэрри.

На веранде она заговорила совсем другим, любезным тоном, будто переделалась в парадное платье:

— Не хотите ли вы чего-нибудь выпить?

— В такой ранний час — нет. А ваш муж правда болен?

— Конечно правда. Я же вас предупредила. Здесь очень много moskitov. Дом стоит слишком близко к воде. Палудрин он перестал принимать. Не знаю почему. Хотя у него все зависит от настроения.

— Паркинсон, наверно, здесь и подхватил малярию.

— Паркинсон?

— Английский журналист.

— Ах, этот! — с брезгливой гримасой сказала она. — Разве он все еще здесь?

— Не знаю. Вы же с ним виделись, когда ваш муж направил его по моему следу.

— Он причинил вам какие-нибудь неприятности? Очень жаль. Я на его вопросы не отвечала.

Куэрри сказал:

— Я, кажется, ясно дал понять вашему супругу, зачем я сюда приехал — чтобы меня оставили в покое. Он навязался мне в Люке. Прислал за мной вас в лепрозорий. Туда же направил Паркинсона. Распространяет обо мне в городе какие-то чудовищные слухи. Теперь эта статья в газете, того и гляди, появится другая. Я приехал сказать ему, чтобы он прекратил это преследование!

— Преследование?

— А как это, по-вашему, назвать?

— Вы не понимаете. Моего мужа взволновал ваш приезд. Встреча с вами. С кем ему здесь поговорить о том, что его интересует? Почти не с кем. Он очень одинок.

Она смотрела на реку, на лебедку парома, на чашу за рекой.

— Когда он увлечется чем-нибудь, ему не терпится завладеть этим. Как дитя малое.

— Я не люблю малых детей.

— Единственное, что в нем есть юного... — сказала она, и эти слова вырвались у нее, точно кровь, брызнувшая из раны.

Он сказал:

— А вы не можете внушить ему, чтобы он перестал болтать обо мне?

— Я на него никак не влияю. Он меня не слушает. Да и чего ему меня слушать.

— Если он любит вас...

— А я этого не знаю. Он иногда говорит, что любит одного Бога.

— Тогда я сам с ним побеседую. И он меня выслушает. Легкий приступ малярии его не спасет. — Он добавил: — Я не знаю, которая его комната, но их в доме не так уж много. Найду.

— Нет! Прошу вас, не надо. Он подумает, что это я во всем виновата. Он рассердится. Я не хочу, чтобы он был сердитый. Мне надо сказать ему одну вещь, А если он будет сердиться, я не смогу. И без того это ужасно.

— Что ужасно?

Она бросила на него отчаянный взгляд. Слезы выступили у нее на глазах и некрасиво, точно капли пота, поползли по щекам. Она сказала:

— Я, кажется, забеременела.

— Я думал, женщины обычно радуются...

— Он не хочет. А предохраняться не позволяет.

— Вы показывались врачу?

— Нет. У меня не было повода для поездки в Люк, а машина у нас одна. Не дай бог, еще поймет, в чем дело. Он обычно только потом интересуется, все ли в порядке.

— А на сей раз не интересовался?

— По-моему, он не помнит, что после того раза у нас с ним опять было.

Куэрри невольно растрогался — какое смирение! Она была совсем молоденькая и очень недурна, но ей и в голову не приходило, что мужчина не должен забывать такие вещи. Она сказала, как будто тем все и объяснялось:

— Это было после приема у губернатора.

— Вы не ошибаетесь?

— У меня уже два раза не приходило.

— Ну, друг мой, в здешнем климате все может быть. — Он сказал: — Вот вам мой совет... как вас зовут?

— Мари.

Из всех женских имен это было самое обычное, но для него оно прозвучало предостережением.

— Да? — живо отозвалась она. — Ваш совет...

— Мужу пока ничего не говорить. Мы придумаем какой-нибудь предлог, чтобы вам съездить в город и показаться врачу. А зря беспокоиться нечего. Вы хотите ребенка?

— Хочу или не хочу, не все ли равно? Раз он не хочет

— Ну, давайте придумаем что-нибудь, и я бы взял вас с собой.

— Кто его уговорит, если не вы? Он так восхищается вами!

— Доктор Колэн просил меня получить в городе медикаменты, кроме того, я хотел сделать сюрприз миссионерам, купить шампанского и еще кое-чего к тому дню, когда будем ставить конек на крыше. Так что доставить вас обратно я смогу только завтра к вечеру.

— Ну и что же? — сказала она, — Его слуга лучше меня за ним ухаживает. Он у него давно, раньше, чем я.

— Я не о том. Может быть, он не доверит мне...

— Дождей последнее время не было. Дорога хорошая.

— Что же, пойти спросить его?

— Но ведь вы собирались говорить о чем-то другом?

— Постараюсь обойтись с ним помягче. Вы отняли у меня мое жало.

— А как будет интересно съездить в Люк одной, сказала она. — То есть с вами. — Она вытерла глаза тыльной стороной руки, совсем не стыдясь своих слез, как ребенок.

— Врач, может быть, скажет, что ваши опасения напрасны. Где его комната?

— Вон та дверь в конце коридора. Вы правда не очень будете его ругать?

— Правда.

Когда он вошел, Рикэр сидел в постели. Скорбная мина у него на лице была как маска, но при виде гостя он быстро снял ее и заменил другой, выражающей радушие.

— Куэрри? Это вы приехали?

— Я завернул к вам по дороге в Люк.

— Как это мило с вашей стороны навестить меня на одре болезни.

Куэрри сказал:

— Я хотел поговорить с вами о дурацком очерке этого англичанина.

— Я дал его отцу Тома, чтобы он отвез вам.

Глаза у Рикэра блестели, то ли от лихорадки, то ли от радости.

— «Пари-диманш» буквально расхватили в Люке. Книжный магазин выписал дополнительные экземпляры. А следующего номера, говорят, заказали сразу сотню.

— Вам не приходило в голову, что мне это может быть неприятно?

— Да, правда, газета не из самых почтенных, но очерк написан в хвалебных тонах. Его даже перепечатали в Италии — представляете себе, что это значит? Говорят, Рим уже послал запрос нашему епископу.

— Рикэр, вы будете слушать меня или нет? Я заставляю себя говорить сдержанно, потому что

вы больны. Но этому надо положить конец. Я не католик и даже не христианин. Не радейте обо мне, я не желаю, чтобы ваша церковь принимала меня в свое лоно.

Рикэр сидел под распятием, и на лице у него была всепонимающая улыбка.

— Я не верю ни в какого Бога, Рикэр. Ни в Бога, ни в душу человеческую, ни в вечную жизнь. Мне все это неинтересно.

— Да. Отец Тома говорил, как тяжело вы страдаете в пустыне.

— Отец Тома ханжа и дурак, а я приехал сюда спастись от дураков, Рикэр. Можете вы обещать, что оставите меня в покое? Если нет, то я уеду. Мне было хорошо здесь до того, как все это началось. Я убедился, что могу работать. Я чем-то заинтересовался, в чем-то принимаю участие...

— Гении принадлежат миру — такой ценой они расплачиваются за свою гениальность.

Если уж нельзя было избежать пытки, с какой радостью он взял бы себе в палачи наглеца Паркинсона. В этой расхристианной натуре оставались хотя бы щели, куда изредка можно было заронить семечко истины. Рикэр же точно стена, так вся залепленная церковными объявлениями, что и кирпичной кладки под ними не видно. Он сказал:

— Я не гений, Рикэр. У меня был кое-какой талант, не очень большой, и я истратил его до конца. Создавать что-нибудь новое мне стало уже не по силам. Я мог только повторять самого себя. И я решил покончить с этим. Видите, насколько все просто и обыденно. Точно так же покончил я и с женщинами. В конце концов существует только тридцать два способа вбивания гвоздей в доску.

— Паркинсон говорил мне про вас, что раскаяние...

— Никогда я ни в чем не раскаивался. Никогда в жизни. Все вы чересчур любите драматические эффекты. Уход от дел, уход от чувств — и то и другое вполне естественно. Вот вы сами, Рикэр, вы уверены, что все еще сохранили непосредственность чувств, что они у вас не поддельные? Вы очень огорчились бы, если б завтра повстанцы сожгли ваш заводик дотла?

— У меня это не главное в жизни.

— И жена у вас тоже не главное. Мне это стало ясно в первую же нашу встречу. Вам нужен кто-то, кто бы спасал вас от того, чем грозит святой Павел, — от разжигания.

— В христианском браке ничего дурного нет, — сказал Рикэр. — Он гораздо лучше, чем брак по страстной любви. Но если хотите знать правду, главное у меня в жизни — моя вера, и так было всегда.

— Как подумаешь, так мы с вами не такие уж разные люди. Оба понятия не имеем о том, что такое любовь. Вы притворяетесь, будто любите Бога, потому что не любите никого другого. А я притворяться не хочу. Единственное, что во мне осталось, это некоторое уважение к истине. Оно было лучшей стороной моего скромного таланта. Вы все время что-то выдумываете, Рикэр, ведь правда? Некоторые мужчины объясняются в любви проституткам — они не смеют даже переспать с женщиной, не придумав для этого оправдания в каких-то чувствах. А вы изволили выдумать меня, лишь бы оправдаться перед самим собой. Но я, Рикэр, на эту удочку не пойду.

— Смотрю я на вас, — сказал Рикэр, — и вижу муку человеческую.

— Увы, ошибаетесь! За последние двадцать лет я боли не знаю. И чтобы заставить меня испытать это чувство, нужен кто-то посильнее вас.

— Как хотите, Куэрри, а вы послужили всем нам высоким примером.

— Примером чего?

— Бескорыстия и смирения.

— Я вас предупреждаю, Рикэр: если вы не перестанете распространять обо мне всякую чепуху...

Он почувствовал свою полную беспомощность. Его заманили в эту словесную ловушку. Оплеуха была бы куда проще и полезнее, но время для оплеух уже упущено.

Рикэр сказал:

— Глас людской причислял достойных к лику святых. И не знаю, может быть, такой метод лучше, чем судилище в Риме. Мы приняли вас, Куэрри, под свою эгиду. Вы уже не принадлежите самому себе. Вы потеряли себя в ту ночь, когда молились с прокаженным в лесу.

— Я не молился. Я только...

Он замолчал. Стоит ли продолжать? Последнее слово осталось за Рикэром. И только хлопнув дверью, он вспомнил, что так ничего и не сказал Рикэру о его жене и о ее поездке в Люк.

А она терпеливо, но вся начеку, ждала его в дальнем конце коридора. Он пожалел, что нет при нем кулечка с конфетами, чтобы утешить ее. Она взволнованно спросила:

— Позволил?

— Я так и не спросил его.

— Вы же обещали.

— Я рассердился и забыл. Простите меня.

Она сказала:

— Все равно я поеду с вами в Люк.

— По-моему, не стоит.

— А вы там очень бушевали?

— Нет, не очень. Почти весь мой гнев остался при мне.

— Тогда я поеду.

Он и слова не успел сказать, как она исчезла и через несколько минут вернулась, готовая в дорогу, с одной сумкой «сабена» в руках.

Он сказал:

— Вы путешествуете налегке.

Когда они подошли к грузовику, он спросил:

— Может, мне все-таки пойти и поговорить с ним?

— А если он не пустит? Что тогда?

Они оставили позади запах маргарина и кладбище ржавых котлов, и тень леса легла на них с обеих сторон. Она спросила вежливо, тоном радушной хозяйки:

— Как у вас там дела в больнице?

— Хорошо.

— А как поживает настоятель?

— Он уехал.

— У вас была гроза в прошлую субботу? У нас очень сильная.

Он сказал:

— Не трудитесь поддерживать разговор, это не обязательно.

— Муж считает, что я чересчур молчаливая.

— Молчаливость не такое уж дурное качество.

— Нет, дурное... когда тоска на душе.

— Простите. Я забыл.

Несколько километров они проехали молча. Потом она спросила:

— Почему вы забрались в эти места, а не куда-нибудь еще?

— Потому что эти места далеко.

— Другие тоже далеко. Например, Южный полюс.

— Когда я приехал в аэропорт, самолетов на Южный полюс не было.

Она хихикнула. Как молодых легко развеселить, даже если у них тоска на душе.

— Один самолет вылетал в Токио, — пояснил он, — но мне показалось, что сюда гораздо дальше. Кроме того, гейши и цветущие вишни меня не интересуют.

— Неужели вы правда не знали, куда...

— Одно из преимуществ абонементной книжки состоит в том, что вам можно решать в самую последнюю минуту, куда вы полетите.

— А близких у вас дома разве не осталось?

— Близких — нет. Была одна, но без меня ей лучше.

— Бедная.

— Ничуть. Она ничего особенно ценного не лишилась. Женщине трудно жить с человеком, который не любит ее.

— Да.

— Среди дня неизбежно бывают такие минуты, когда перестаешь притворяться.

— Да.

Они молчали до тех пор, пока не стало темнеть, и тогда он включил фары. Их лучи скользнули по чучелу с кокосовым орехом вместо головы, сидевшему в покосившемся кресле. Она испуганно ахнула и прижалась к его плечу. Она сказала:

— Как что-нибудь непонятное, так пугаюсь.

— Частенько же вам приходится пугаться.

— Частенько.

Он обнял ее за плечи, стараясь успокоить. Она сказала:

— А вы простились с ней?

— Нет.

— Она же, наверно, видела, как вы укладываетесь?

— Нет. Я тоже путешествую налегке.

— Так без всего и уехали?

— Взял бритву, зубную щетку и аккредитив из американского банка.

— Что же вы, на самом деле не знали, куда поедете?

— Понятия не имел. Поэтому набирать с собой разную одежду не имело смысла.

Дорога пошла плохая, и ему понадобились обе руки на штурвале. До сих пор он не задумывался над своим тогдашним поведением. В то время ему казалось, что логично поступить именно так. Он позавтракал плотнее обычного, потому что не знал, когда еще придется есть, потом взял такси. Его путешествие началось с огромного, почти безлюдного аэропорта, специально выстроенного к международной выставке, которая уже давно закрылась. По его коридорам можно было пройти с милю и не встретить почти ни одного человеческого существа. В необозримом зале люди сидели поодиночке в ожидании самолета на Токио. Они были похожи на статуи в музее. Он попросил билет до Токио и вдруг увидел транспарант с названиями африканских городов.

Он сказал:

— А на этот рейс есть места?

— Да, но из Рима до Токио самолета не будет.

— Я поеду до конечного пункта.

Он дал кассиру свою абонементную книжку.

— Где ваш багаж?

— Багажа нет.

Теперь он понимал, что его поведение могло показаться несколько странным. Он сказал кассиру:

— Будьте добры, проставьте на билете только мое имя, фамилии не надо. И в списке пассажиров — тоже. Я не хочу иметь дело с прессой.

Это было одним из немногих преимуществ, которые дает человеку слава: странности его поведения никого нестораживают. Таким бесхитростным способом он думал замести свои следы, но, вероятно, допустил какой-то просчет, иначе письмо, подписанное «tout a toi», не дошло бы до него. Может быть, она сама приезжала в аэропорт на разведку. У кассира, вероятно, было что порассказать ей. Но так или иначе, ни в конечном пункте, ни в маленькой гостинице, где кондиционированного воздуха не было, а душ хоть и был, но не работал, его никто не узнал, хотя он назвался по фамилии. Значит, выдать его местопребывание мог только Рикэр. Интерес, который проявил к нему Рикэр, зыбью прошел полмира, точно радиоволна, и эта зыбь докатилась до международной прессы. У него вдруг вырвалось:

— Как я жалею, что встретился с вашим мужем!

— И я тоже.

— Разве у вас были из-за меня какие-нибудь неприятности?

— Я... я о себе. Я тоже об этом жалею.

Фары выхватили из темноты Деревянные подпорки и на них клетку высоко в воздухе. Мари Рикэр сказала:

— Я все здесь ненавижу. Хочу домой.

— Мы далеко отъехали, поворачивать поздно.

— Здесь у меня дома нет, — сказала она. — Здесь завод.

Он прекрасно знал, чего она ждет от него, но не хотел произносить эти слова. Посочувствуешь — пусть неискренне, в заученных выражениях, а что за этим обычно следует, давно известно по опыту. Тоска — это голодный зверь, который притаился у лесной тропы в ожидании своей жертвы. Он сказал:

— У вас есть где остановиться в Люке?

— Нет, у нас там никого нет из друзей. Я поеду с вами, в гостиницу.

— Вы оставили записку мужу?

— Нет.

— Напрасно.

— А вы оставили — перед тем как уехать в аэропорт?

— Это другое дело. Я уезжал навсегда.

Она сказала:

— Вы дадите мне займы на билет домой... в Европу, конечно?

— Нет.

— Так я и знала.

И как будто этим все было решено, и ей ничего больше не оставалось делать, она отвернулась от него и заснула. Он подумал — несколько опрометчиво: бедная, запуганная зверушка! Эта еще слишком молода и потому не очень опасна. Жалеть их рискованно только, когда они входят в полную силу.

2

Было уже около одиннадцати вечера, когда они проехали мимо маленькой речной пристани у самого въезда в Люк. Там стояла на якоре епископская баржа. Кошка, поднимавшаяся на нее по сходням, остановилась на полпути и уставилась на них, и Куэрри сделал крутой вираж, чтобы не наехать на дохлую собаку, которая валялась посреди дороги в ожидании утра, когда ее растерзают стервятники. Гостиница на площади, против губернаторского дома, еще не сняла с себя остатков праздничного убранства. Может быть, там недавно давала свой ежегодный банкет дирекция местного пивоваренного завода или же на радостях, что ему так повезло, отпраздновал свой перевод на родину какой-нибудь чиновник. В баре, над стульями из гнутых металлических трубок, придававших всему залу уныло-деловой вид машинного отделения, свисали сиреневые и розовые бумажные цепи, на кронштейнах ухмылялись во весь рот круглые лунные рожицы абажуров.

Номера наверху были без кондиционированного воздуха, и перегородки между ними не достигали до потолка, так что ни о какой обособленности и думать не приходилось. Из соседнего номера доносился каждый звук, и Куэрри мог следить за всем, что там делает Мари Рикэр, — ж-жикнула молния на сумке, щелкнули складные плечики, стеклянный флакон звякнул о фаянсовый умывальник. На голый пол упали туфли, полилась вода. Он сидел и думал, чем ее утешить, если завтра утром доктор скажет, что она беременна. Ему вспомнилось долгое ночное бдение возле Део Грациаса. Тогда тоже пришлось успокаивать человека, которого одолевал страх. За стеной скрипнула кровать.

Он достал из своей сумки бутылку виски и налил себе стакан. Теперь настала его очередь звякать, лить воду, шуршать, он точно перестукивался с соседней тюремной камерой. Из-за стены донесся какой-то непонятный звук — уж не плач ли? Он почувствовал не жалость к ней, а только раздражение. Вот навязалась и теперь, пожалуй, не даст выспаться. Он еще не успел раздеться. Он прихватил с собой бутылку виски и постучал к ней в дверь.

Ему сразу стало ясно, что он ошибся. Она полулежала в постели и читала книгу в мягкой обложке — успела все-таки сунуть ее в свою «сабену». Он сказал:

— Простите. Мне показалось, вы плачете.

— Нет, что вы, — сказала она. — Это я смеялась.

Он увидел, что она читает популярный роман, в котором описывается парижское житье-бытье одного английского майора.

— Так смешно, просто ужас!

— А я принес вот это, на случай, если понадобится утешать.

— Виски? В жизни не пробовала.

— Вот и попробуйте. Но вам вряд ли понравится.

Он сполоснул ее кружку из-под зубной щетки, налил туда немного виски и сильно разбавил его водой.

— Не нравится?

Она сказала:

— Сама идея нравится. Пить виски в полночь, в комнате, где ты сама себе хозяйка.

— Полночи еще не пробило.

— Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. И читать в постели. Мой муж не любит, когда я читаю в постели. Особенно если такую книжку.

— А чем она плоха?

— Не серьезная. Не про Бога. Он прав, конечно, — добавила она. — Образования мне не хватает. Монахини уж как старались, а не привилась мне наука.

— Я очень рад, что вы забыли о своих опасениях.

— Может, все будет хорошо. Вот у меня вдруг живот схватило. От виски вряд ли. Слишком быстро, правда? Может, гости?

Речи радушной хозяйки были отправлены на чердак — туда же, где валялись за ненужностью поучения монахинь, и она перешла на жаргон пансионского дортуара. Смешно было думать, что такое инфантильное существо может представлять собой какую-то опасность.

Он спросил:

— А в школе вам хорошо жилось?

— Ой, как в раю! — Она еще выше подтянула ноги под простыней и сказала: — Вы бы сели.

— Вам пора спать.

Он разговаривал с ней, как с ребенком, и не мог иначе. Вместо того чтобы лишить жену невинности, Рикэр раз и навсегда оставил ей ее девство.

Она сказала:

— Что вы будете делать дальше? Когда больницу выстроят?

Все задавали ему этот вопрос, но на сей раз он не стал уклоняться от ответа. Существует теория, что иным надо говорить чистую правду.

Он сказал:

— Я останусь здесь. Назад не поеду.

— Иногда-то надо будет ездить — например, в отпуск.

— Предоставляю это другим.

— Заболеете с тоски, если будете жить безвыездно.

— Я закаленный. А потом, не все ли равно? Рано или поздно всем нам суждена одна и та же болезнь — старость. Видите коричневые пятнышки у меня на руках? Моя мать говорила, что это печать могилы.

— Самые обыкновенные веснушки, — сказала она.

— Э-э, нет. Веснушки бывают от яркого солнца. А эти — от непроглядной тьмы.

— Что за мрачные мысли, — сказала она тоном школьной директрисы. — Просто не понимаю вас. Мне-то приходится здесь жить, но, Господи Боже, если бы я была свободна, как вы!

— Хотите, я расскажу вам кое-что?

Он налил себе второй раз тройную порцию виски.

— Ой, как много! Вы что, сильно пьете? Мой муж пьет.

— Не столько сильно, сколько регулярно. А этот стакан должен помочь мне, потому что я рассказчик неопытный. С чего же начать?

Он не спеша отхлебнул виски.

— В некотором царстве, в некотором государстве...

— Ну, знаете! — сказала она. — Мы с вами люди взрослые — и вдруг сказки!

— Да, верно. Но сказка-то как раз об этом. В некотором царстве, в некотором государстве, в деревенской глуши жил-был мальчик...

— Это вы про себя?

— Нет. Зачем же проводить такие тесные параллели? Романисты, как говорят, опираются в своих описаниях не на отдельные факты, а на общий жизненный опыт. А я до сих пор, кроме городов, нигде не бывал подолгу.

— Ну, дальше.

— Этот мальчик жил-поживал со своими родителями на ферме — не так чтобы большой, но им там места хватало, а с ними еще жили двое слуг, шестеро работников, кошка, собака, корова...

Кажется, и свинья была. Я деревенскую жизнь плохо знаю.

— Ой, сколько действующих лиц! Уснешь, пока всех запомнишь.

— Вот этого я и добиваюсь. Родители часто рассказывали мальчику разные истории о Царе, который жил в городе, за сто миль от них — на расстоянии самой далекой звезды...

— Чепуха какая! До звезд биллионы и триллионы...

— Да, но мальчик-то думал, что до той звезды сто миль. Он и понятия не имел о световых годах. Не знал, что звезда, на которую он смотрел, может быть, погасла и умерла еще до сотворения мира. Ему говорили, что хотя Царь живет далеко-далеко, он все равно следит за тем, что делается. Опоросилась свинья, мотылек сгорел над лампой — Царю все известно. Поженились мужчина и женщина — ему и это известно. И он доволен ими, потому что, когда они дадут приплод, количество его подданных увеличится. Он вознаграждал их по заслугам — какая это была награда, никто не видел, потому что женщина часто умирала в родах, а ребенок иногда рождался глухим или слепым, но в конце концов воздуха тоже никто не видит, а он существует, если верить знающим людям. Когда какой-нибудь работник или работница любились в стог сена, Царь наказывал их. Наказание не всегда было видно — мужчина, случалось, находил себе работу получше, девушка расцветала, став женщиной, и потом выходила замуж за десятника, но это все только потому, что наказание откладывалось. Иной раз оно откладывалось до самой их смерти, но и это не имело никакого значения, ибо мертвыми Царь тоже правил, и кто знает, какие ужасы он мог уготовить им в могиле.

Мальчик подрастал. Он женился, честь честью, и получил награду от Царя, хотя единственный его ребенок умер и с работой ему не везло, а он мечтал создавать статуи, такие же большие и величественные, как сфинксы. После смерти ребенка он поссорился с женой, и Царь наказал его за это. Наказания, разумеется, тоже не было видно, как и награды, то и другое надлежало принимать на веру. С течением времени он стал знаменитым золотых дел мастером, ибо одна женщина, которой он сумел угодить, дала ему денег на учение, и он создал много прекрасных драгоценных украшений в честь своей любовницы и, разумеется, в честь Царя тоже. Награда за наградой начали сыпаться на него. А также деньги. От Царя. Все говорили в один голос, что деньги эти от Царя. Он бросил жену и любовницу, бросал и много других женщин, но, прежде чем бросить, развлекался с каждой как только мог. Они называли это любовью, и он тоже так называл. Не было такого правила, какого он не нарушил бы, и за это, конечно, ему следовало наказание, но поскольку все наказания были незримы, он своего тоже не мог узреть. Он богател и богател, и драгоценные изделия получались у него все красивее и красивее, а женщины любили его все больше и больше. Все в один голос говорили, что живется ему просто замечательно. Плохо было только одно: он начал скучать, день ото дня все сильнее и сильнее. Ему никто никогда не говорил «нет». Никто не заставлял его страдать — страдали всегда другие. Иной раз он даже был не прочь испытать боль — от наказаний, которые Царь все время налагал на него. Путешествовал он всюду, где только захочется, и вот ему стало казаться, что странствия уводили его гораздо дальше, чем за сто миль, что отделяют от Царя, гораздо дальше, чем самая далекая звезда, и тем не менее возвращался он всегда на то же самое место, где было все то же самое: в газетах по-прежнему восхваляли его изделия, женщины по-прежнему обманывали мужей и спали с ним, а царские слуги по-прежнему провозглашали его преданнейшим и вернейшим из подданных Царя.

И так как люди видели только дарованные ему награды, а наказания оставались для них незримыми, за ним утвердилась слава хорошего человека. Иной раз, правда, удивлялись: как же так? Человек хороший, а женщин меняет одну за другой? Нет ли тут измены Царю, издавшему совсем иные законы? Но со временем и этому подыскали объяснение: стали

говорить, что любвеобилие его велико, а любовь всегда считалась в той стране славнейшей из добродетелей. И поистине, даже Царь не мог измыслить большей награды, потому что любовь незримее, чем какие-то там мелкие материальные блага — деньги, успех и членство в Академии художеств. Наконец этот человек и сам уверовал, что он умеет любить много-много лучше всех так называемых хороших людей, которые не так уж хороши на самом-то деле (посмотрите хотя бы, какие наказания им назначаются — бедность, смерть детей, а кто лишится обеих ног во время железнодорожной катастрофы, да мало ли чего еще). И для него было ударом, когда в один прекрасный день он открыл, что никого и ничего не любит.

— Как же он это открыл?

— Это было первое важное открытие, которое он сделал в те дни, а дальше последовали другие. Говорил я вам, что человек он был очень умный, гораздо умнее тех, кто его окружал? Еще мальчиком он без посторонней помощи открыл для себя Царя. Правда, родители рассказывали ему разные истории о нем, но эти истории ничего не могли доказать. Скорее всего, его тешили небылицами. Мы любим Царя, говорили родители, но он пошел дальше них. Он доказывал его существование с помощью исторического, логического, философского и этимологического методов. Родители говорили, что это потеря времени, что они знают про Царя все и без доказательств, они его видели. «Где?!» — «У нас в сердце, конечно». Как он потешался тогда над их простодушием и суеверием! Разве Царь может быть у них в сердце, если он, их сын, способен доказать, что Царь и шагу не сделал из города, который отстоит за сотню миль от их фермы? Его Царь существует объективно, и нет другого Царя, кроме его собственного.

— Я не очень-то люблю притчи, а ваш герой мне вовсе не нравится.

— Мой герой сам себе не очень нравится, и поэтому он не любит распространяться на свой счет, разве только вот в такой форме.

— Вы сказали: «Нет другого Царя, кроме его собственного» — это совсем как у моего мужа.

— Не вините рассказчика в том, что он вводит в свой рассказ подлинных людей.

— Когда же будет самое интересное? А конец счастливый? Если нет, тогда я сейчас же засну. И хоть бы женщин его описали!

— Вы не лучше литературных критиков. Хотите, чтобы я сочинял по вашему вкусу.

— Вы читали «Манон Леско»^[51]?

— Сто лет назад.

— В монастыре мы этим романом зачитывались. Он, конечно, был под строжайшим запретом и ходил у нас по рукам, а я наклеила на него обложку с «Истории религиозных войн» мосье Лежена. Эта книга до сих пор у меня.

— Дайте мне досказать мою сказку.

— Ну, ладно, — покорилась она, откидываясь на подушки. — Досказывайте, если вам так уж хочется.

— Я говорил о первом открытии моего героя. Второе было сделано гораздо позже, когда ему стало ясно, что он не художник, а всего лишь искусный умелец, золотых дел мастер. Однажды он отлил из золота яйцо величиной со страусовое и покрыл его финифтью, а когда его

откроешь, внутри за столиком сидит маленький золотой человечек, а на столике перед ним лежит маленькое золотое с финифтью яичко, а если открыть это яичко, там внутри за маленьким столиком тоже сидит маленький человечек, и на столике тоже лежит золотое с финифтью яичко, если открыть и это... Дальше можно не продолжать. Его назвали великим мастером своего дела, но многие пели ему хвалы и за высокую идею этого произведения искусства, ибо каждое яйцо было украшено в честь Царя золотым крестом, обложенным алмазной крошкой. Но изощренность этого замысла вымотала у него все силы, и вдруг, когда он трудился над последним яичком с помощью оптического стекла — так называли лупу в те древние времена, к которым относится наша сказка, ибо, конечно же, в ней нет и намека на современность и на кого-либо из ныне живущих...

Он надолго приложился к стакану. С незапамятных времен не было у него такой странной душевной приподнятости. Он сказал:

— О чем это я? Я, кажется, немножко пьян. Виски никогда на меня так не действовало.

— О золотом яйце, — ответил из-под простыни сонный голос.

— Ах да, второе открытие.

Сказка получалась печальная, и ему было непонятно, откуда в нем это чувство раскрепощения и свободы, точно у заключенного, который наконец-то «раскололся» и во всем признается своему инквизитору. Может быть, это то самое воздаяние, которое получает кое-когда сочинитель? «Я сказал все, теперь можете меня казнить».

— Что вы говорите?

— О последнем яичке.

— Ах да, правильно. Так вот, наш герой вдруг понял, как ему все надоело. О том, чтобы снова приниматься за оправу драгоценных камней, и думать не хотелось. С ремеслом надо было расставаться — он истратил себя в нем до конца. Ничего более искусного или более бесполезного, чем то, что уже сделано, он не создаст, более высоких похвал, чем те, которыми его до сих пор осыпали, не услышит. И вообще это дурачье могло провалиться со своими восхвалениями ко всем чертям.

— Ну, а дальше?

— Он пошел к дому номер 49 на Рю-де-Рампар, где его любовница снимала квартиру, с тех пор как ушла от мужа. Ее звали Мари. Ваша тезка. Около дома собралась толпа. А наверху он застал врача и полицию, потому что час назад она убила себя.

— Какой ужас!

— Его это не ужаснуло. В наслаждениях он давным-давно истратил себя до конца, так же как теперь — в работе. Правда, он все еще предавался им, подобно ушедшему со сцены танцовщику, который по привычке начинает день с упражнений у станка и не догадывается, что эти занятия можно прекратить. Да, наш герой почувствовал только облегчение; станок сломался, а заводить другой, решил он, не стоит труда. И месяца через два, конечно, завел. Но, увы, поздно! Многолетняя привычка была нарушена, и он никогда больше не занимался этим с прежним рвением.

— Какая противная сказка, — проговорил голос из-под простыни. Ее лица ему не было видно,

потому что она накрылась с головой. Он оставил критику без внимания.

— Уверяю вас, бросить ремесло так же трудно, как мужа. И в том и в другом случае вам без конца твердят о долге. К нему приходили и требовали яиц с крестами (в этом заключался его долг по отношению к Царю и к царским приверженцам). По тому, какой шум вокруг всего этого подняли, можно было подумать, будто, кроме него, никто не умеет делать ни яиц, ни крестов. Для того чтобы отвадить всю эту публику и показать ей, что прежних воззрений в нем не осталось, он отделал еще несколько драгоценных камней, придав им самую фривольную форму, какую только мог выдумать. Это были прелестные маленькие яблочки, которые вставлялись в пупки, — украшения для женских пупков сразу же вошли тогда в моду. Потом он стал мастерить мягкие золотые кольчуги с просверленным вверху камнем наподобие всевидящего ока, которые мужчины надевали на свои причинные места. Их почему-то прозвали каперскими свидетельствами, и некоторое время они тоже были в большом ходу, как подарки. (Вы сами знаете, как трудно женщине подобрать подходящий рождественский подарок мужчине.) И вот на нашего героя снова посыпались деньги и хвалы, а он злился, что к этой чепухе относятся не менее серьезно, чем в свое время к яйцам и крестам. Но он был придворный золотых дел мастер, и ничто не могло изменить это. Его провозгласили моралистом, и в этих изделиях увидели едкую сатиру на современность, что, как вы сами догадываетесь, неблагоприятно отразилось на торговле каперскими свидетельствами. Какой мужчина захочет носить сатиру на таком месте? Да и женщины, которым раньше так нравились податливые мягкие кольчуги с драгоценным камнем, теперь касались этих сатирических произведений искусства с большой опаской.

Впрочем, то обстоятельство, что его ювелирные изделия уже не пользовались успехом у широкой публики, принесло ему еще больший успех у знатоков, ибо знатоки презирают все, имеющее широкий спрос. О его творениях начали писать книги, и писали их главным образом те, кто претендовал на особую близость и любовь к Царю. Книги эти были написаны все на один лад, и, прочитав какую-то одну, наш герой получил представление и обо всех прочих. Почти в каждой была глава, называвшаяся «Яблоко в тесте — творчество падшего человека», или «От пасхального яичка до каперских свидетельств. Золотых дел мастер на службе у первородного греха».

— Почему вы все говорите: золотых дел мастер? — слышалось из-под простыни. — Будто не знаете, что он был архитектор.

— Я вас предупреждал: не ищите прототипов моей сказки. Чего доброго, узнаете себя в той Мари. С вас станет! Хотя вы, слава создателю, не из тех, кто кончает жизнь самоубийством.

— Вы еще не знаете, на что я способна, — сказала она. — Ваша сказка совсем не похожа на «Манон Леско», но тоже очень жалостная.

— Никто из этих людей не подозревал, что в один прекрасный день наш герой сделал очередное поразительное открытие — у него больше не было веры во все те доводы исторического, философского, логического и этимологического порядка, с помощью которых он установил существование Царя. Осталась лишь память о том, кто жил не в каком-то определенном городе, а в сердце его родителей. К несчастью, у него самого сердце было устроено несколько по-другому, чем то единственное, которое поделили между собой его родители. Оно зачерствело от гордости и успехов, и теперь только гордость могла заставить его сердце биться учащенно, когда, завершив работу, он видел здание...

— Вы сказали: здание.

— ...когда, завершив работу, он видел у себя на верстаке готовую драгоценность или когда женщина в последний миг стонала: «Да, да, да, да!»

Он посмотрел на бутылку — виски там было на самом дне, стоило ли оставлять? Он вылил все в стакан, и воды туда не добавил.

— Видите, что получилось? — сказал он. — Наш герой обманул не только других, но и самого себя. Он искренне верил, что, любя свою работу, он любил и Царя, что, лаская женщину, он хоть и весьма несовершенно образом, но подражал Царю, любящему свой народ. Ведь Царь так возлюбил мир, что послал в него и быка, и золотой дождь, и сына своего...

— Какая у вас каша в голове, — сказала она.

— Но, открыв, что нет такого Царя, в какого он верил, мой герой понял также, что все, им содеянное, было содеяно во имя любви к самому себе. Так стоит ли делать драгоценные украшения и ласкать женщин ради собственного удовольствия? Может, он истратил себя до конца и в любви и в творчестве еще до своего последнего открытия о Царе, а может, само это открытие послужило концом всему? Я-то не знаю, но говорят, бывали минуты, когда он думал: «А может быть, мое неверие — это и есть последнее, окончательное доказательство существования Царя?» Кромешная пустота, видимо, была его карой за самовольное нарушение законов. А может статься, это было то самое, что люди называют болью. Все запуталось до нелепости, и он уже начинал завидовать простому, ничем не обремененному сердцу своих родителей, где, согласно их вере, жил Царь — жил в сердце, а не где-то за сто миль, во дворце, огромном и холодном, как собор Святого Петра.

— Ну, а дальше что?

— Я же вам сказал, бросать ремесло — все равно что бросать мужа, одинаково трудно. Если б вы своего бросили, перед вами протянулись бы бесконечные дали дневного света, которые неизвестно как и где пересечь, и бесконечные дали ночной темноты, не говоря уж о телефонных звонках и участливых расспросах друзей и о какой-нибудь заметке в газетной хронике. Но эта часть сказки уже не интересна.

— И вот он взял свою самолетную книжку... — сказала она.

Виски было допито, и экваториальный день вспыхнул за окном, будто что-то вдруг разбилось о край неба, и бледно-зеленые, бледно-желтые и розовые, как фламинго, струйки потекли оттуда по горизонту и вскоре пожухли и перешли в обычную серость будничного дня. Он сказал:

— Я до утра вас проморил.

— Если бы хоть что-нибудь романтическое. Но и то ладно, по крайней мере те мысли отогнали.

Она хихикнула под простыней:

— А ведь я могла бы сказать ему, что мы провели ночь вместе. Почти так и есть. Как вы думаете, он подал бы на развод? Нет, вряд ли. Церковь разводов не разрешает. Церковь то, церковь се...

— А вам действительно так тоскливо живется?

Ответа не последовало. К молодым сон приходит так же внезапно, как наступает городской день в тропиках. Он тихонько отворил дверь и вышел в полутемный коридор, где все еще

горела бледная, оставленная на ночь лампочка. Кто-то вставший ни свет ни заря или, наоборот, полуночник притворил дверь — пятую по коридору, в тишине заклокотала, захлебнулась спущенная вода. Он сел на кровать, день вокруг него разгорался — это был час пролады. Он подумал: Царь почил в бозе, да здравствует Царь. Может быть, именно здесь он обрел родину и какую-то жизнь.

Глава вторая

1

Куэрри постарался выйти в город пораньше, чтобы выполнить до жары хотя бы часть докторских поручений. К завтраку Мари Рикэр не появилась, по ту сторону перегородки стояла полная тишина. В соборе Куэрри забрал почту, дожидавшуюся следующего парохода, обрадовался, что ему писем не было. *Toute a toi*, видимо, ограничилась одним-единственным жестом по направлению к этим неведомым местам, и он надеялся, в ее же интересах, что этот жест был продиктован не любовью, а чувством долга и традициями, и, следовательно, его молчание будет воспринято безболезненно.

К полудню жара его иссушила, и, находясь в это время недалеко от реки, он свернул к пристани и поднялся по сходням на епископскую баржу посмотреть, нет ли капитана на борту. У трапа он остановился, сам себе удивляясь. Впервые после большого перерыва его вдруг потянуло с кем-то повидаться. Ему вспомнилось, как было страшно в тот вечер, когда он в последний раз поднялся на эту баржу и увидел огонек в каюте. Готовясь к очередному рейсу, команда уже погрузила топливо на понтоны, какая-то женщина развешивала выстиранное белье между трапом и котлом. Поднимаясь вверх, он крикнул: «Капитан!», но миссионер, сидевший в салоне за проверкой фрахтовых документов, был ему незнаком.

— Можно войти?

— Я догадываюсь, кто вы. Мосье Куэрри? Не откупорить ли нам бутылочку пива?

Куэрри спросил, где тот капитан.

— Он теперь преподает богословскую этику, — ответил его преемник, — в Ба Канге.

— Ему не хотелось уходить отсюда?

— Наоборот! Он был просто в восторге. Жизнь на реке не очень-то его прельщала.

— А вас она прельщает?

— Я еще сам не знаю. Это мой первый рейс. Все-таки перемена обстановки после семинарии и канонического права. Мы уходим завтра.

— В лепрозорий?

— Да, это наш конечный пункт. Будем там через неделю. Дней через десять. Еще не знаю точно, где придется брать грузы.

Уходя с баржи, Куэрри чувствовал, что им не заинтересовались. Капитан даже не спросил его о новой больнице. Может быть, «Пари-диманш» сделала свое дело, и худшее позади, и ни Рикэр, ни Паркинсон больше не страшны ему? У него было такое ощущение, будто он на границе при въезде в чужую страну: беженец не сводит глаз с консула, следя, как тот берет перо, чтобы

поставить последнюю резолюцию на его визу. Но беженцу до последней минуты не верится, что все сойдет гладко; слишком часто приходилось ему наткаться на неожиданное сомнение, новый вопрос, новое требование, новую папку, с которой входит в кабинет консула вызванный им чиновник. В баре гостиницы, под абажуром с лунной рожницей и под сиреневыми цепями, сидел какой-то человек, это был Паркинсон.

Паркинсон поднял стакан с розоватым джином и сказал:

— Выпьем? Угощаю.

— Я думал, вы уехали, Паркинсон.

— Уезжал, но всего только в Стэнливиле, там беспорядки. Очерк написан, передан по телеграфу, и теперь я свободный человек до следующей поживы. Что будете пить?

— И надолго вы сюда?

— Пока не вызовут. Ваш материал прошел хорошо. Возможно, потребуется третий очерк.

— То, что я вам рассказал, вы не использовали.

— Не годилось для семейного чтения.

— Больше вы от меня ничего не получите.

— Как знать, как знать, — сказал Паркинсон. — Иной раз так повезет, такое подвалит! — Он встряхнул кусочки льда в стакане. — Первый очерк прошел с огромным успехом. Перепечатан всюду, даже у антиподов, кроме тех мест, конечно, что за железным занавесом. Американцы просто упиваются. Религия и антиколониалистский дух — лучшей смеси для них не придумаешь. Я только об одном жалею: что вы тогда не сфотографировали, как меня, больного, переносили на берег. Пришлось обойтись тем снимком, который сделала мадам Рикэр. Зато я снялся в Стэнливиле у сожженной машины. Это вы придирались ко мне из-за Стэнли? Наверно, он все-таки был в тех местах, иначе город не назвали бы в его честь. Куда вы?

— К себе в номер.

— А, да! Вы в шестом, по тому же коридору, что и я?

— В седьмом.

Паркинсон помешал пальцем кусочки льда.

— Ах вот как! В седьмом. Вы не обиделись на меня? Ради бога, не придавайте значения моим наскокам во время нашей прошлой беседы. Я хотел заставить вас разговориться, только и всего. Таким, как я, лезть на рожон не по чину. Копья, которыми пикадоры беспокоят быка, невзаправдашние.

— А что взаправдашнее?

— Следующий очерк. Прочтете — увидите.

— Заранее говорю, что правды там ни на грош.

— Туше! — сказал Паркинсон. — Странная вещь с метафорами — дыхание, что ли, у них

короткое? Не выдерживают до конца. Хотите верьте, хотите нет, но в былые времена я уделял много внимания стилю.

Он заглянул в свой стакан с джином, точно в колодезь.

— Ох и длинная же это штука — жизнь! Правда?

— Не так давно вы боялись, как бы не расстаться с ней.

— Она у меня одна-единственная, — сказал Паркинсон.

Дверь на слепящую улицу отворилась, и в бар вошла Мари Рикэр. Паркинсон сказал веселеньким голосом:

— Смотрите, кто идет!

— Мадам Рикэр приехала со мной, я ее подвез с плантации.

— Еще стакан джина! — крикнул бармену Паркинсон.

— Благодарю вас, но я не пью джин, — ответила ему Мари Рикэр фразой, будто бы взятой из английского разговорника.

— А что вы пьете? Вспоминаю, действительно я ни разу не видал вас со стаканом в руке, пока жил на плантации. Может быть, orange pressee, дитя мое?

— Я очень люблю виски, — горделиво сказала Мари Рикэр.

— Молодец. Взрослеете не по дням, а по часам.

Он пошел к бармену на дальнем конце стойки и по дороге вдруг подпрыгнул с неожиданной для такого толстяка легкостью и качнул рукой бумажные цепи.

— Ну что? — спросил Куэрри.

— Пока еще ничего нельзя сказать — будет ясно только послезавтра. Но он думает...

— Да?

Он думает, что я влипла, — мрачно проговорила она, и тут же к ним подошел Паркинсон со стаканом в руке. Он сказал:

— Говорят, у вашего старика приступ?

— Да.

— Сочувствую! Я-то знаю, что это такое, — сказал Паркинсон. — Но ему везет, за ним молодая жена ухаживает.

— Сиделка ему не нужна.

— Вы сюда надолго?

— Не знаю. Дня на два.

— Тогда пообедаем вместе? Время найдется?

— О-о, нет! На это не найдется, — не колеблясь ответила она.

Он невесело ухмыльнулся.

— Еще туше!

Выпив свое виски, Мари Рикэр сказала Куэрри:

— Мы с вами вместе обедаем, да? Я только на минутку, руки вымою. Сейчас возьму ключ.

— Разрешите *мне*, — сказал Паркинсон и, не дав ей времени возразить, через минуту вернулся с ключом, болтающимся у него на мизинце.

— Номер шесть, — сказал он. — Значит, мы все трое на одном этаже.

Куэрри сказал:

— Я тоже поднимусь.

Мари Рикэр заглянула в свой номер и тут же подошла к его двери.

Она спросила:

— Можно к вам? У меня так неудобно, просто ужас! Я встала поздно, и постель не успели постелить.

Она вытерла лицо его полотенцем и сокрушенно посмотрела на следы пудры, оставшиеся на нем.

— Простите, ради бога. Вот насвинячила! Не сообразила.

— Пустяки.

— Женщины отвратительны, правда?

— За свою долгую жизнь я этого не заметил.

— Втянула я вас в историю. Теперь проторчите из-за меня лишние сутки в этой дыре.

— Но доктор мог бы сообщить вам результаты письменно.

— Я не уеду, пока не буду знать наверняка. Как вы этого не понимаете? Если ответ будет «да», мне надо сразу же сказать ему. Это единственное, чем я смогу оправдать свою поездку.

— А если «нет»?

— Ну! Такое счастье? Тогда мне все будет нипочем. Может, и домой-то не вернусь. — Она спросила: — Что такое проверка на кролике?

— Я точно не знаю. Кажется, берут у вас мочу, разрезают кролика...

— Разрезают? — с ужасом спросила она.

- Потом опять зашьют. Он, кажется, доживает до следующей проверки.
- И почему мы так спешим узнавать худшее? Да еще за счет несчастного зверька.
- А вам совсем не хочется ребенка?
- Маленького Рикэра? Нет.

Она взяла его расческу из головной щетки на столике и, не взглянув на нее, провела ею по волосам.

- Я напросилась обедать с вами. Может, вы с кем-нибудь другим уговаривались?
- Нет.
- Это все из-за того типа. Он мне просто омерзителен.

Но отделаться от него в Люке было невыносимо. Из двух ресторанов, имеющих в городе, они попали в один и тот же. Кроме них троих, там никого не было; сидя у самой двери, Паркинсон поглядывал в их сторону между глотками супа. Свой «роллефлекс» он повесил на спинку соседнего стула, как вешают револьверы штатские в наше беспокойное время. Следовало отдать ему справедливость: он выходил на охоту, вооружившись одной фотокамерой.

Мари Рикэр подложила себе картофеля на тарелку.

- Только не говорите, — сказала она, — что я ем за двоих.
- Не собираюсь.
- Это ходячая колониетская шуточка, когда у кого-нибудь глисты.
- Как живот — болит?
- Увы, прошло. Доктор считает, что одно с другим не связано.
- Может, вам все-таки позвонить мужу? Он же будет волноваться, если вы и сегодня не вернетесь.
- Линия, наверно, испорчена. Здесь почти всегда так.
- Грозы эти дни не было.
- Африканцы вечно крадут провода.

Она молчала до тех пор, пока не прикончила ужасающего лилового крема.

— Пожалуй, вы правы. Пойду позвоню, — и ушла, предоставив ему пить кофе в одиночестве. Его чашка и чашка Паркинсона в унисон позвякивали о блюдца на пустых столиках.

Паркинсон заговорил с другого конца зала:

- Почта еще не пришла. Я жду свой второй очерк. Если придет, занесу к вам в номер. Да, кстати! Вы в шестом или седьмом? Как бы не ошибиться. Еще попадешь куда не следует.
- А вы не трудитесь.

— За вами должок — фотоснимок. Может, вы и мадам Рикэр сделаете мне такую любезность?

— От меня вы никаких фотоснимков не получите, Паркинсон.

Куэрри уплатил по счету и пошел на поиски телефона. Аппарат стоял на конторке, за которой сидела женщина с синими волосами и в синих очках и выписывала оранжевой ручкой счета.

— Звонок есть, — сказала Мари Рикэр, — но никто не отвечает.

— Надеюсь, ему не хуже?

— Наверно, ушел на завод.

Она повесила трубку и сказала:

— Все, что могла, я сделала, правда?

— Перед тем как пойдем ужинать вечером, надо позвонить еще раз.

— Теперь вам от меня не отделаться!

— Мне от вас, вам от меня.

— Другую сказку расскажете?

— Нет. Я только одну и знаю.

— До завтра с ума сойдешь. Просто не представляю себе, куда деваться, пока не узнаю.

— А вы ложитесь и полежите.

— Нет, не могу. Как по-вашему, будет очень глупо, если я пойду в собор и помолюсь?

— Нисколько не глупо. Лишь бы провести время.

— Но если это здесь сидит, во мне, — сказала она, — от молитвы оно не исчезнет?

— Вряд ли. — Он нехотя сказал: — Священники и те не требуют, чтобы в это верили. Они, должно быть, посоветовали бы вам молиться об исполнении воли Господней. Впрочем, не ждите от меня наставлений насчет молитв.

— Ну, знаете! — сказала Мари Рикэр. — Прежде чем молиться об исполнении его воли, я бы поинтересовалась, какая она. Но все равно пойду помолюсь. Буду молиться о счастье. Ведь так можно?

— Думаю, что можно.

— А это почти все охватывает.

2

Куэрри тоже не знал, куда девать себя. Он опять спустился к реке. Погрузку на епископской барже закончили, и на борту никого не было. Магазины на маленькой площади стояли с закрытыми ставнями. Казалось, весь мир спал крепким сном, кроме него и молодой женщины, которая, наверно, все еще молилась. Впрочем, вернувшись в гостиницу, он обнаружил, что еще

один человек бодрствует — Паркинсон. Он стоял под сиренево-розовыми цепями и не сводил глаз с двери. Как только Куэрри переступил порог, Паркинсон на цыпочках подошел к нему и сказал тоном хитроватым, но настоящим:

— Мне надо поговорить с вами по секрету, прежде чем вы подниметесь к себе.

— О чем?

— Обрисовать вам ситуацию, — сказал Паркинсон. — Буря над Люком. Знаете, кто там наверху?

— Где наверху?

— На втором этаже.

— Я вижу, вам не терпится сказать. Ну, говорите.

— Супруг, — пробасил Паркинсон.

— Какой супруг?

— Рикэр. Разыскивает жену.

— Пусть заглянет в собор, она, вероятно, там.

— Это все не так просто. Он знает, что она здесь с вами.

— Конечно знает. Я был вчера у него в доме.

— Тем не менее вряд ли он предполагал, что вы займете два смежных номера.

— Ход мысли, типичный для репортера скандальной хроники, — сказал Куэрри. — Какая разница — смежные номера, не смежные? В одну постель можно сойтись и с разных концов коридора.

— Вы недооцениваете репортеров скандальной хроники. Они пишут историю. От прекрасной Розамунды до Евы Браун ^[52].

— Ну, в историю чета Рикэров вряд ли войдет.

Он подошел к конторке и сказал:

— Приготовьте мне счет, пожалуйста. Я уезжаю.

— Удираете? — спросил Паркинсон.

— Зачем мне удирать? Я задержался здесь только потому, что хотел подвезти ее домой. Теперь она с мужем. Пусть он о ней и заботится.

— Ну и тип вы! Ничем вас не прошибешь! — сказал Паркинсон. — Я начинаю думать, что в ваших рассказах о себе кое-что и верно.

— Вот и напечатайте их вместо вашей ханжеской белиберды. Неужели не заманчиво хоть раз в жизни поведать правду?

— Но какую правду? Вы не такой простачок, Куэрри, каким прикидываетесь, а в моем очерке фактических искажений не было. Конечно, если не считать Стэнли.

— А пирога, а преданные слуги?

— Но то, что о вас, это все правда.

— Нет.

— Похоронили вы себя здесь? Похоронили. Работаете на прокаженных. Пошли в джунгли за тем африканцем. Все одно к одному, а в результате получается то, что люди любят именовать «благостью».

— Я знаю, что мною руководило.

— Ой ли! А святые тоже знали? А как же быть с «несчастнейшим из грешников» и тому подобной чепухой?

— Вы говорите, как отец Тома. Не совсем, конечно, но почти.

— История с одинаковым успехом может принять и мою версию, и вашу. Я обещал возвеличить вас, Куэрри. Но мы еще посмотрим — может быть, если я стащу вас с пьедестала, получится даже интереснее. А дело, кажется, к тому и идет.

— И вы воображаете, что это в ваших силах?

— Монтегю Паркинсона печатают повсюду.

Женщина с синими волосами сказала:

— Получите счет, мосье Куэрри, — и он повернулся к ней — платить.

— А может быть, — сказал Паркинсон, — вам все-таки стоит попросить меня об одолжении?

— Не понимаю.

— Мне часто приходилось выслушивать угрозы. Мою фотокамеру два раза разбивали вдребезги. Однажды я провел ночь в каталажке. Три раза меня колотили в ресторанах. Получалось почти как у святого Павла: «Три раза меня били палками, однажды камнями, три раза я терпел кораблекрушение...» И вот что странно — хоть бы кто-нибудь попробовал воззвать к моим лучшим чувствам! Ведь это могло бы подействовать. Вдруг они есть во мне... где-нибудь. — Он будто и в самом деле опечалился.

Куэрри мягко сказал:

— Я бы и попробовал, Паркинсон, да мне все равно.

Паркинсон сказал:

— Сил нет терпеть ваше чертово равнодушие! А вам известно, что он там нашел? Впрочем, разве вы снизойдете до того, чтобы расспрашивать журналиста? Полотенце у вас в номере. Я это полотенце сам ему показал. И расческа с длинными волосами.

На один-единственный миг его страдающий взгляд выдал, каково быть таким вот Паркинсоном.

Он сказал:

— Вы меня разочаровали, Куэрри. Ведь я начинал верить в то, что писал о вас.

— Что ж, прошу прощения, — сказал Куэрри.

— Человек должен хоть немножко во что-то верить, не то сматывай удочки.

Кто-то шел вниз по лестнице и споткнулся на повороте. Это был Рикэр. В руке он держал книгу в ярко-красной мягкой обложке. Его пальцы, скользившие по перилам, дрожали, то ли от малярии, то ли от волнения. Он остановился, и с ближайшего кронштейна на него уставилась ухмыляющаяся, щекастая рожица лунного человечка. Он сказал:

— Куэрри.

— Здравствуйте, Рикэр. Ну, как вы себя чувствуете? Лучше?

— Я отказываюсь понимать, — проговорил Рикэр. — Кто угодно, только не вы...

Он замолчал, судорожно подыскивая готовые штампы — штампы из романов «Мари Шанталь», а не те, которые были привычны ему по богословской литературе.

— Я считал вас своим другом, Куэрри.

Оранжевая ручка застрочила что-то очень уж деловито, а синяя голова нагнулась над конторкой слишком низко.

— О чем это вы, Рикэр? — сказал Куэрри. — Давайте лучше перейдем в бар. Там мы будем более или менее одни.

Паркинсон двинулся было за ними, но Куэрри стал в дверях, загородив ему дорогу. Он сказал.

— Нет, Паркинсон, это не для вашей «Пост».

— Мне нечего скрывать от мистера Паркинсона, — сказал Рикэр по-английски.

— Как вам угодно.

Дневная жара прогнала из бара даже бармена. Бумажные цепи свисали с потолка, точно водоросли. Куэрри сказал:

— Ваша жена звонила вам после завтрака, но у вас никто не ответил.

— И не удивительно. В шесть утра я был уже в дороге.

— Я очень рад, что вы здесь. Теперь мне можно уехать.

Рикэр сказал:

— Отрицать бесполезно, Куэрри. Бесполезно. Я был в номере моей жены — в номере шестом, а ключ от седьмого у вас в кармане.

— К чему такие глупые, скоропалительные выводы, Рикэр? Даже по поводу полотенец и расчесок. Допустим, она умывалась утром в моем номере. Ну и что же? Номера смежные? Но

только эти два и были готовы, когда мы приехали.

— Почему вы увезли ее, не сказав мне ни слова?

— Хотел сказать, но мы с вами разговорились совсем о других вещах.

Он посмотрел на Паркинсона, который стоял, опершись о стойку. Паркинсон не сводил глаз с их губ, точно это помогало ему понимать язык, на котором они говорили.

— Она уехала, бросила меня больного, с высокой температурой.

— При вас остался ваш бой. А у нее были дела в городе.

— Какие такие дела?

— Пусть, Рикэр, она вам сама обо всем расскажет. Разве у женщины не может быть секретов?

— Однако вы в них посвящены? Муж имеет право...

— Слишком вы любите говорить о своих правах, Рикэр. У нее тоже есть кое-какие права. Но я вовсе не собираюсь стоять здесь и доказывать вам...

— Куда вы?

— Пойду отыщу своего боя. Надо выезжать. У нас в запасе часа четыре до темноты.

— Но мне еще о многом надо поговорить с вами.

— О чем? О любви к Богу?

— Нет, — сказал Рикэр. — Вот об этом.

Он протянул ему книжку в красном переплете, открытую на странице, вверху которой стояла дата. Куэрри увидел, что это дневник — тетрадка в одну линейку, а над строкой что-то написано аккуратным школьным почерком.

— Вот, — сказал Рикэр. — Прочитайте.

— Я не читаю чужих дневников.

— Тогда я сам вам прочту. «Провела ночь с К.».

Куэрри усмехнулся. Он сказал:

— Да, это верно... до некоторой степени. Мы пили виски, а я рассказывал ей длинную сказку.

— Не верю ни одному вашему слову.

— Вы заслуживаете, чтобы вас сделали рогоносцем, Рикэр, но у меня никогда не было вкуса к соращению малолетних.

— Интересно, что сказали бы на это в суде.

— Осторожнее, Рикэр. Не угрожайте мне. А вдруг я изменю своим вкусам?

— За такое можно поплатиться, — сказал Рикэр. — Здорово поплатиться.

— Сомневаюсь. Нет такого суда в мире, который поверил бы вам, а не нам с ней. Прощайте, Рикэр.

— Что же, вы думаете так легко отделаться — будто ничего и не было?

— Я очень хотел бы оставить вас в состоянии мучительной неизвестности, но это будет нечестно по отношению к ней. Между нами ничего не было, Рикэр. Я даже не поцеловал вашу жену. Она меня как женщина не интересует.

— Кто дал вам право так презирать нас?

— Возьмитесь за ум. Положите этот дневник туда, где вы его взяли, и ничего не говорите ей.

— «Провела ночь с К.» — и ничего не говорить?

Куэрри повернулся к Паркинсону:

— Дайте вашему другу чего-нибудь выпить и образумьте его. Вы ведь ему обязаны — материалом для своего очерка.

— Дуэль... Как это было бы прекрасно для нашей газеты, — мечтательно проговорил Паркинсон.

— Ее счастье, что у меня не буйный нрав, — сказал Рикэр. — Хорошая трепка...

— Это тоже входит в понятие о христианском браке?

Он вдруг почувствовал страшную усталость: вся жизнь прошла в разгаре таких вот сцен, слушать такие голоса ему на роду было написано, и если сейчас не остережешься, они будут звучать у него в ушах и на смертном одре. Он повернулся к ним обоим спиной и вышел, не обращая внимания на почти истошный вопль Рикэра:

— Это мое право! Я требую...

Сидя в кабине рядом с Део Грациасом, он успокоился. Он сказал:

— Ты больше не ходил в леса и меня туда никогда не возьмешь, я знаю... Но как бы мне хотелось... А где оно, Пенделэ? Далеко?

Део Грациас сидел, опустив голову, и молчал.

— Ну, ладно.

Около собора Куэрри остановил грузовик и вышел. Надо все-таки предупредить ее. Соборные двери были растворены настежь для вентиляции, и от безобразных витражей, пропускавших красный и синий свет, солнце казалось здесь еще пронзительнее, чем снаружи. Башмаки священника, который шел к ризнице, со скрипом ступали по кафельным плитам, старуха африканка позвякивала четками. Этот храм не годился для медитаций, в нем было жарко и беспокойно, как на людном рынке; в притворе гипсовые торгаши навязывали прихожанам кто младенца, кто кровоточащее сердце. Мари Рикэр сидела под статуей святой Терезы Лизьеской. Трудно было сделать более неудачный выбор. Кроме молодости, их ничто не роднило.

Он спросил ее:

— Все еще молитесь?

— Да нет. Я не слышала, как вы подошли.

— Ваш муж в гостинице.

— А-а, — вяло протянула она, глядя на святую, не оправдавшую ее надежд.

— Вы оставили свой дневник у себя в номере, и он прочел его. Зачем вы написали: «Провела ночь с К.»?

— Но ведь это правда. Кроме того, я специально поставила восклицательный знак, чтобы было понятно.

— Что понятно?

— Что это в шутку. Монахини не сердились, если с восклицательным знаком. Например: «Мать настоятельница рвет и мечет!» Они называли его «преувеличительный знак».

— Вряд ли ваш муж знает монастырский код.

— Так он серьезно думает?.. — спросила она и фыркнула.

— Я пытался разубедить его.

— Ах, как обидно, если он все равно в этом уверен. Мы бы и на самом деле могли... Куда же вы теперь поедете?

— Домой.

— Если б вы захотели, я бы уехала с вами. Но вы не захотите, я знаю.

Он посмотрел на гипсовое лицо с жеманной ханжеской улыбкой.

— А она что скажет?

— Я с ней не обо всем советуюсь. Только in extremis^[53]. Хотя сейчас такой extremis, дальше некуда, правда? Учитывая и то, и се, и многое другое. Как по-вашему, сказать ему про беременность?

— Лучше сказать, пока он сам не дознался.

— А я-то просила у нее счастья, — презрительно проговорила она. — Тоже, надеялась! А вы верите в силу молитвы?

— Нет.

— И никогда не верили?

— Раньше как будто верил. Тогда же, когда верил и в великанов.

Он оглядел собор — алтарь, раку, бронзовые паникадила и европейских святых, бесцветных,

как альбиносы, на этом темном континенте. Он уловил в себе смутную тоску о прошлом, но это, вероятно, удел всех пожилых людей — тосковать о прошлом, даже о мучительном прошлом, потому что муки эти нерасторжимо связаны с молодостью. Если есть такое место Пенделэ, подумал он, я не стану искать оттуда пути назад.

— Вы, вероятно, считаете, что я тут только даром время потеряла на молитвы?

— Все-таки лучше, чем валяться в постели и думать свою невеселую думу.

— Значит, вы совсем не верите в силу молитвы? И в Бога тоже?

— Нет. — Он мягко добавил: — Может быть, я и не прав.

— А Рикэр верит, — сказала она, называя его по фамилии, точно он уже не был ее мужем. — И почему это среди верующих совсем не те люди, какие нужны?

— Как же так? А монахини?

— Ну-у, они профессионалки. Во все верят. Даже в то, что ангелы перенесли богородицу из Назарета в Лоретское святилище. Они требуют от нас веры и в то, и в это, и в пятое, и в десятое, а мы верим все меньше и меньше.

Может быть, это говорилось только для того, чтобы оттянуть возвращение в гостиницу. Она сказала:

— Мне однажды здорово влетело за то, что я нарисовала Лоретское святилище в воздухе, с крыльями, как у реактивного самолета. А вы сильно верили... когда у вас еще была вера?

— Да. Как тот мальчик в сказке, я вооружался разной аргументацией и мог уверовать почти во все. При соответствующей настройке мыслей у тебя что угодно получится. И женишься и призвание найдешь. А когда годы пройдут и твоя женитьба или твое призвание окажутся пустым номером, лучше выходи из игры. Так и с верой. Люди цепляются за свою семейную жизнь, чтобы не остаться в одиночестве на старости лет, а за свое призвание — из страха перед нищетой. В том и в другом случае мотивировка неправильная. И так же неправильно цепляться за церковь только потому, что ее шаманство облегчает нам уход из этого мира.

— А приходиться в этот мир разве шаманство не помогает? — спросила Мари Рикэр. — Если у меня внутри ребенок, ведь его придется крестить? Вряд ли я буду спокойно себя чувствовать с некрещеным. Как по-вашему, это нечестно с моей стороны? Если бы только у него был другой отец!

— Почему же нечестно? И рано еще вам думать, что брак у вас неудачный.

— Конечно неудачный.

— Я имею в виду не Рикэра, а... — Он проговорил резко: — И прошу вас, хоть вы-то не берите меня за образец для подражания!

Глава третья

1

Шампанское, которое Куэрри достал в Люке, было сладковатое, но ничего лучше он не нашел,

а после трехдневного путешествия на грузовике и небольшой поломки машины у первого паромы качество его и вовсе не повысилось. Монахи выставили от себя консервированный гороховый суп, четыре тощие жареные курицы и сомнительного вида омлет с желе из гуавы, омлет «сел» на полдороге между их домом и домом миссионеров. Но в тот день, когда с церемонией водружения конька было наконец-то покончено, наводить критику никому не захотелось. Перед амбулаторией натянули тент, а под ним на длинных досках, положенных на козлы, миссионеры и монахи поставили угощение для прокаженных, которые работали на строительстве больницы, и для членов их семей — официальных и неофициальных: мужчинам — пиво, женщинам и детям — фруктовую воду с булочками. Подготовка к пиршеству в доме монахов велась в строжайшей тайне, но, по слухам, там должны были подать кофе, заваренный крепче обычного, и несколько коробок печенья птифур, хранившегося про запас с Рождества и, по всей вероятности, успевшего заплесневеть за это время.

Перед пиром отслужили молебен. Отец Тома обошел снаружи все здание новой больницы, поддерживаемый отцом Жозефом и отцом Полем, и окропил его стены святой водой под пение гимнов на языке монго. Потом читали молитвы и слушали проповедь отца Тома, которая чрезмерно затянулась; он еще плохо владел языком монго, и понимали его с трудом. Прокаженным помолже надоело слушать, и они разбрелись кто куда, а одного мальчугана брат Филипп застиг на месте преступления: он орошал новые стены своей собственной водичкой.

Никого не беспокоило, что в стороне от пирующих сидели и пели свои гимны несколько человек, не имеющих никакого отношения к местному племени. Только доктор, который работал раньше в Нижнем Конго, знал, что это повстанцы с побережья больше чем за тысячу километров отсюда. Из прокаженных вряд ли кто понимал их язык, и поэтому доктор не мешал им петь. О том, какой длинный путь они проделали, добираясь сюда лесными тропами, рекой и дорогой, можно было судить только по шести велосипедам, приставленным один к другому на ведущей в глубь леса тропинке, которой доктор случайно проходил тем утром.

E ku Kinshasa ka bazeyi ko
E ku Luozi ka bazeyi ko...

В Киншасе никто ничего не знает.
В Луози никто ничего не знает.

Они пели и пели свою горделивую песнь, исполненную чувства превосходства — превосходства над своими же собратьями, над белыми, над христианским Богом, над всеми, кто вне этой шестерки в спортивных каскетках с рекламой пива «Поло».

В Верхнем Конго никто ничего не знает.
На небе никто ничего не знает.
Те, кто поносит Духа, ничего не знают.
Вожди ничего не знают.
Белые люди ничего не знают.

Бога Нзамбе никогда еще не подвергали унижениям, это был особый бог. Один только Део Грациас приблизился к этой группе. Он сидел на корточках между ними и больницей, и доктор вспомнил, что его привезли в лепрозорий ребенком откуда-то из Нижнего Конго.

— Таково наше будущее? — сказал Куэрри. Он судил не по словам песни, которые были непонятны ему, а по заносчиво сдвинутым набекрень каскеткам с рекламой пива «Поло».

— Да.

— Вас оно пугает?

— Еще бы! Но я не хочу пользоваться свободой за счет других.

— А они не прочь.

— Наша выучка.

Из-за всяких задержек и конек подняли наверх и начали пир почти перед самым закатом. Тент, натянутый перед амбулаторией, чтобы уберечь строителей от зноя, теперь был не нужен, но, взглянув на черные тучи, собиравшиеся за рекой, отец Жозеф не велел убирать его, на случай дождя.

С решением отца Тома ставить конек согласились не сразу. Отец Жозеф хотел оттянуть еще не месяц, в расчете, что отец настоятель вернется к тому времени, и отец Поль сначала поддержал его, но, когда доктор Колэн стал на сторону отца Тома, они сняли свои возражения.

— Пусть отец Тома устраивает пир и распевает гимны, это его дело, — сказал им доктор. — А мне нужна больница.

Доктор Колэн и Куэрри отошли от людей, приехавших с востока, и, вернувшись назад, застали самый конец торжественной церемонии.

— Мы поступили правильно, — сказал доктор, — но все-таки жаль, что настоятеля не было. Он порадовался бы, глядя на этот спектакль, а кроме того, его проповедь была бы понятнее.

— И короче, — сказал Куэрри. Глухие голоса африканцев затаили новый гимн.

— А все-таки не уходишь и слушаешь.

— Да, я слушаю.

— А почему?

— Голоса предков. Воспоминания. Разве вам не приходилось в детстве лежать и прислушиваться, что они там говорят внизу? Слов не разбираешь, а в самих голосах есть что-то успокоительное. Вот и сейчас так. Приятно слушать, а самому молчать. Пожара в доме нет, вор не затаился в соседней комнате. Ничего я не хочу понимать, ни во что не хочу верить. Если веришь, так надо еще и думать. А я думать больше не намерен. Строить крольчатники, сколько бы их вам ни понадобилось, можно и не думая.

Попивая шампанское за ужином, в миссии очень веселились. Отца Поля поймали на том, что он хотел выпить лишний стакан. Кто-то еще — брат Филипп? вряд ли, на него это не похоже — налил содовой в опорожненную бутылку, и бутылка обошла полстола, пока это не обнаружили. Куэрри вспомнил то, что было несколько месяцев назад: вечер в семинарии на берегу реки, когда миссионеры жульничали в карты. Тогда он ушел в заросли, так ему было нестерпимо слушать их инфантильные шуточки, их смех. Как же это он сейчас сидит здесь и улыбается вместе со всеми? Он даже поймал себя на том, что его раздражает физиономия отца Тома, который со строгим видом восседал во главе стола, не участвуя во всеобщем веселье.

Доктор провозгласил тост в честь отца Жозефа, а отец Жозеф провозгласил тост в честь

доктора. Отец Поль провозгласил тост в честь брата Филиппа, а брат Филипп сконфузился и будто язык проглотил. Отец Жан провозгласил тост в честь отца Тома, но отец Тома ответного тоста не предложил. Шампанское уже подходило к концу, как вдруг кто-то извлек из недр буфета початую бутылку сандемановского портвейна, и портвейн стали пить из ликерных рюмок, чтобы на дольше хватило.

— Если хотите знать, так англичане пьют портвейн после десерта, — сказал отец Жан. — Станный обычай, возможно протестантский, но тем не менее...

— А в богословской этике на сей счет ничего не сказано? — спросил отец Поль.

— В каноническом праве сказано: *Lex contra Sandemanium*. Но и этот закон был, разумеется, так истолкован одним славным бенедиктинцем...

— Отец Тома, рюмочку портвейна?

— Благодарю вас, отец. С меня вполне достаточно того, что я уже выпил.

Тьма за растворенной дверью вдруг подалась назад, и на мгновение в странном желтом свете, как на выцветшей фотографии, они увидели низко накренившиеся пальмы. Потом там опять все почернело, и ветер, ворвавшийся в комнату, шевельнул страницы киножурнала отца Жана. Куэрри встал затворить дверь от надвигающейся грозы, но передумал и, ступив наружу, закрыл ее за собой. Небо на севере снова вспыхнуло, как будто над рекой продернули длинную ленту. Оттуда, где веселились прокаженные, донесся гул барабанов, и тут же — раскат грома в ответ, точно воинская часть шла на смену. На веранде кто-то был. При вспышке молнии он увидел, что это Део Грациас.

— Почему же ты не на празднике, Део Грациас?

И он тут же вспомнил, что праздник устроен не для увечных, а для каменщиков, плотников, столяров. Он сказал:

— Молодцы, хорошо поработали, больница выстроена.

Део Грациас стоял молча. Куэрри сказал:

— Ты что, опять задумал побег? — и, раскурив сигарету, сунул ее бою в рот.

— Нет, — сказал Део Грациас.

Куэрри почувствовал в темноте прикосновение култышки. Он сказал:

— Что случилось, Део Грациас?

— Ты уедешь, — сказал Део Грациас. — Когда больница готова.

— Нет, нет, не уеду. Я доживу здесь до конца дней своих. Туда, откуда я приехал, мне возвращаться нельзя, Део Грациас. Нет мне там места.

— Ты убил человека?

— Я убил все, что можно было убить.

Гром послышался ближе, и тут же зашумел дождь. Сначала он разведчиком тихонько шуршал

среди пальмовых вееров, крался в траве, потом уверенной поступью великого водяного воинства двинулся от реки и приступом захлестнул ступеньки веранды. Барабаны прокаженных умолкли сразу, как погашенное пламя, и даже удары грома были едва слышны сквозь мощную атаку дождя.

Део Грациас подступил ближе.

— Возьми меня с собой, — сказал он.

— Говорю тебе, я останусь здесь. Почему ты мне не веришь? До конца жизни. Меня здесь и похоронят.

Может быть, его не было слышно из-за дождя, но Део Грациас повторил:

— Я с тобой.

Где-то задребезжал телефон — банальный звук человеческого жилья, как неутешный детский плач, пронзающий шум ливня.

2

Когда Куэрри вышел, отец Тома сказал:

— Мы всех тут почтили, а за того, кому больше всех обязаны, не выпили.

Отец Жозеф сказал:

— Он прекрасно знает, как мы ему благодарны. А тосты ведь были шуточные, отец Тома.

— Я считаю, что, когда он вернется, мне следует выразить ему нашу благодарность официально, от имени всей общины.

— И тем самым вы только смутите его, — сказал доктор Колэн. — Человеку нужно от нас лишь одно — чтобы его оставили в покое.

По крыше забарабанил дождь, брат Филипп стал зажигать свечи на буфете, на случай если погаснет электричество.

— Благословен тот день, когда он к нам приехал, — сказал отец Тома. — Кто бы мог предвидеть это? Знаменитый Куэрри!

— А для него тот день вдвойне благословен, — ответил доктор. — Дух поддается лечению гораздо труднее, чем тело, и все-таки мне кажется, что он почти здоров.

— Чем достойнее человек, тем сильнее объемлет его бесплодность пустыни, — сказал отец Тома.

Отец Жозеф с виноватым видом посмотрел сначала на свой стакан, потом на сотрапезников. По милости отца Тома у всех у них было такое чувство, будто они пьянствуют в церкви.

— Человек малой веры и не заметит временной утраты ее. — Отец Тома был непогрешим в своих сентенциях. Отец Поль подмигнул отцу Жану.

— Вы слишком много ему приписываете, — сказал доктор. — Его случай, вероятно, гораздо

проще. Бывает же так, что полжизни человек верит без достаточных к тому оснований, а потом вдруг обнаруживает свою ошибку.

— Вы, доктор, рассуждаете, как все атеисты, точно нет на свете Божественной благодати. Вера без благодати немислима, а Господь никогда не отымет у человека своего дара. Человек сам себя его лишает — своими поступками. Поступки Куэрри у всех у нас на виду, и по ним можно судить, каков он.

— Надеюсь, вам не придется потерпеть разочарование, — сказал доктор. — К нам на излечение увечные тоже поступают, но мы не считаем, что их объемлет пустыня. У нас это объясняется так: болезнь изжила сама себя.

— Вы очень хороший врач, но все же мне кажется, что мы лучше можем судить о духовном состоянии человека.

— Да, да, безусловно! Если таковое существует.

— Вы обнаруживаете уплотнение на коже там, где наш глаз ничего не заметит. Но не отказывайте нам в чутье на... гм!.. — отец Тома запнулся, — ... на доблесть.

Из-за грозы они говорили громче обычного. Зазвонил телефон.

Доктор Колэн сказал:

— Это, должно быть, из больницы. У меня там умирает один больной.

Он подошел к буфету, где стоял аппарат, и поднял трубку. Он сказал:

— Кто это? Сестра Клэр? — Потом обратился к отцу Тома: — Кто-то из ваших монахинь. Вы ответите? Я не разбираю, что она говорит.

— Может быть, они добрались до нашего шампанского? — сказал отец Жозеф.

Доктор Колэн передал трубку отцу Тома и вернулся к столу.

— Голос взволнованный, а кто, я не понял, — сказал он.

— Говорите медленнее, — сказал отец Тома. — Кто это? Сестра Элен? Я вас не слышу, гроза очень сильная. Повторите, пожалуйста. Не понимаю.

— Какое счастье, — сказал отец Жозеф, — что у сестер не каждый день пир горой.

Отец Тома, взбешенный, круто повернулся к нему. Он сказал:

— Замолчите, отец. Я из-за вас ничего не слышу. Дело не шуточное, случилась страшная вещь.

— Кто-нибудь заболел? — спросил доктор.

— Передайте матери Агнесе, — сказал отец Тома, — что я сейчас же приду. И его разыщу и приведу с собой.

Он повесил трубку и ссутулился над телефоном, как вопросительный знак.

— Что случилось, отец? — спросил доктор. — Моя помощь не требуется?

— Кто знает, где Куэрри?

— Он только что вышел на веранду.

— Как бы я хотел, чтобы настоятель был здесь!

Они удивленно посмотрели на отца Тома. Эти слова как нельзя более свидетельствовали о его смятении.

— Может, мы все-таки узнаем, что случилось? — спросил отец Поль.

Отец Тома сказал:

— Завидую вам, доктор, что в вашем деле лабораторный анализ решает все! Вы были правы, когда предупреждали меня о возможном разочаровании. И вы и настоятель. Он говорил почти то же самое. Я слишком полагался на видимость!

— Куэрри в чем-нибудь провинился?

— Упаси меня Боже осуждать человека, не проверив всех...

Дверь отворилась, и вошел Куэрри. Следом за ним в комнату ворвались дождевые струи, и ему не сразу удалось захлопнуть за собой дверь. Он сказал:

— В водомерном стекле уже на полсантиметра воды.

Все молчали. Отец Тома шагнул ему навстречу.

— Мосье Куэрри, это правда, что вы ездили в Люк с мадам Рикэр?

— Да. Я подвез ее.

— На *нашем* грузовике?

— Да, конечно.

— И это в то время, когда ее муж лежал больной?

— Да.

— Что такое? В чем дело? — сказал отец Жозеф.

— Спросите мосье Куэрри, — ответил ему отец Тома.

— О чем?

Отец Тома надел резиновые сапоги и взял зонтик с вешалки.

— Что я такого сделал? — сказал Куэрри и посмотрел сначала на отца Жозефа, потом на отца Поля. Отец Поль недоуменно развел руками.

— Все-таки не мешало бы нам знать, что произошло, отец, — сказал доктор Колэн.

— Я вынужден попросить вас, мосье Куэрри, чтобы вы пошли со мной. Мы посоветуемся с сестрами, как быть дальше. Я до последней секунды надеялся, что произошла какая-то

ошибка. Я даже был бы рад, если бы вы попытались отрицать все это. И вдруг такое бесстыдство! Если Рикэр приедет сюда, я не хочу, чтобы он застал вас здесь.

— А зачем Рикэру сюда приезжать? — сказал отец Жан.

— Зачем? Полагаю, что за женой. Его жена сейчас у сестер. Она приехала полчаса назад. Три дня в дороге — одна. Она беременна, — сказал отец Тома. Телефон снова зазвонил. — Ребенок ваш.

Куэрри сказал:

— Какой вздор! Она не могла этого говорить.

— Несчастливая женщина. У нее, вероятно, не хватило духа признаться мужу. Она приехала из Люка, разыскивает вас.

Снова зазвонил телефон.

— Кажется, моя очередь отвечать, — сказал отец Жозеф, со страхом берясь за трубку.

— Мы здесь так хорошо вас приняли. Ни о чем не расспрашивали. Никто не любопытствовал узнать ваше прошлое. И в благодарность за все это вы преподнесите нам такую... такую скандальную историю. Мало вам было женщин в Европе? Вы и нашу маленькую общину сделали ареной своих походов!

Отец Тома вдруг снова превратился в того издерганного, во всем изверившегося священника, который не спал по ночам и боялся темноты. Он заплакал и, точно африканец, цепляющийся за свой тотем, прижал зонтик к груди. Он был похож на пугало, проторчавшее всю ночь на огороде.

— Алло, алло! — кричал в трубку отец Жозеф. — Заклинаю вас всеми святыми, говорите громче! Кто это?

— Пойдемте к ней вместе. Сейчас же, — сказал Куэрри.

— Это ваше право, — сказал отец Тома. — Хотя сейчас она, наверно, не в состоянии что-то доказывать. Последние три дня она ничего не ела, кроме плитки шоколада. Она приехала одна, без слуги. Ах, если бы настоятель... И кто? Подумать только — мадам Рикэр! Сколько наша миссия видела добра от них! Боже мой! Да что там такое, отец Жозеф?

— Это из больницы, — с облегчением проговорил отец Жозеф и передал трубку доктору Колэну.

— Я ждал этого звонка — больной умер, — сказал доктор. — Слава Богу, естественный ход вещей кое в чем еще сохранился.

3

Отец Тома в полном молчании шагал впереди под своим огромным зонтом. Дождь ненадолго утих, но с зонтичного каркаса все еще капало. Отца Тома было видно только во время вспышек молнии. Фонарика у него не было, но он и в темноте мог идти по этой тропинке, не сбиваясь. Не один оmlет и не одно суфле погибли здесь, на этой тропе, а сколько на них было потрачено яиц! Белый домик монахинь внезапно вырос перед ними при вспышке молнии и

одновременном громовом раскате. Ударило в дерево где-то совсем близко, и во всей миссии перегорели пробки.

В дверях их встретила одна из монахинь. Она посмотрела на Куэрри через плечо отца Тома, точно перед ней предстал сам дьявол — столько в ее взгляде было ужаса, отвращения и любопытства. Она сказала:

— Мать настоятельница около мадам Рикэр.

— Мы пройдем туда, — мрачно проговорил отец Тома.

Она провела их в комнату с белыми стенами, где Мари Рикэр лежала на кровати, выкрашенной белой краской. Над ней висело распятое, рядом на столике горел ночник. Мать Агнеса сидела рядом и гладила Мари Рикэр по щеке. Первое впечатление у Куэрри было такое, что после долгих странствий по чужим краям в дом благополучно вернулась дочь.

Отец Тома спросил алтарным шепотом:

— Ну, как она?

— Цела и невредима, — сказала мать Агнеса, — телесно невредима.

Мари Рикэр повернулась на бок и посмотрела на них. Во взгляде у нее была незамутненная правдивость, как у ребенка, который приготовился сказать твердокаменную ложь. Она улыбнулась Куэрри и проговорила:

— Простите меня. Я не могла не приехать. Мне было страшно.

Мать Агнеса отняла руку от лица Мари Рикэр и уставилась на Куэрри, точно боясь, как бы он чего не сделал с ее подопечной.

Куэрри мягко сказал:

— Не бойтесь. Было страшно ехать одной в такую даль, а теперь бояться нечего. Теперь вы среди друзей и можете объяснить им... — Он не договорил.

— Да, да, — прошептала она. — Я все объясню.

— Они не поняли, что вы им говорили. О нашей поездке в Люк. И о ребенке. Это подтвердилось — о ребенке?

— Да.

— Так скажите им, чей это ребенок.

— Я сказала, — ответила она. — Ваш. — И добавила: — Ну, и мой, конечно, — как будто это добавление должно было все объяснить и все оправдать.

Отец Тома сказал:

— Вот видите!

— Зачем же вы так говорите? Вы же знаете, что это неправда. До поездки в Люк мы с вами даже не оставались наедине.

— В тот раз, — сказала она, — когда мой муж впервые привел вас в дом.

Ему было бы легче, если бы он разозлился, но зла против нее у него не было. В определенном возрасте лгать так же естественно, как и играть с огнем. Он сказал:

— Вы говорите вздор и сами это прекрасно знаете. Я уверен, что вы не хотите причинить мне зло.

— Нет, нет! — сказала она. — Как можно! Je t'aime, cheri. Je suis toute a toi^[54].

Мать Агнеса брезгливо сморщила нос.

— Потому я к тебе и приехала, — сказала Мари Рикэр.

— Ей надо отдохнуть, — сказала мать Агнеса. — Все это можно обсудить завтра утром.

— Разрешите мне поговорить с ней наедине.

— Ни в коем случае, — сказала мать Агнеса. — Это недопустимо. Отец Тома, вы не позволите ему...

— Почтеннейшая! Неужели же я буду ее бить? При первом ее вопле вы можете прибежать на выручку.

Отец Тома сказал:

— Если мадам Рикэр согласна, вряд ли мы сможем воспрепятствовать этому.

— Конечно, согласна, — сказала Мари Рикэр. — Затем я сюда и приехала.

Она тронула Куэрри за рукав. Ее улыбка, полная печали и поруганного доверия, была достойна Сары Бернар^[55] в роли умирающей Маргариты Готье^[56].

Когда они остались вдвоем, она сказала со счастливым вздохом:

— Вот так-то.

— К чему вся эта ложь?

— Это не все ложь, — сказала она. — Я ведь вас правда люблю.

— С каких пор?

— С тех пор как провела с вами ночь.

— Но вы же прекрасно знаете, что тогда ничего не было. Мы пили виски. Я рассказывал вам сказку, чтобы вы поскорее уснули.

— Да. В некотором царстве, в некотором государстве. Вот тогда я и влюбилась. Нет, не тогда. Кажется, опять вру, — сказала она с наигранным смирением, — Это было, когда вы в первый раз к нам пришли. Un coup de foudre^[57].

— В ту ночь, которую, по вашим словам, мы провели вместе?

— Нет, это тоже вранье. На самом деле я провела с вами ночь после приема у губернатора.

— Да что вы несете?

— Мне с ним не хотелось. И тогда, чтобы как-то себе помочь, я закрыла глаза и вообразила, что это вы.

— Я, видимо, должен рассыпаться в благодарностях, — сказал Куэрри, — за комплимент.

— Тогда, наверно, ребенок и получился. Так что, видите, я им не наврала.

— Не наврала?

— Ну, серединка на половинку. Если бы я не думала тогда о вас, у меня было бы все по-другому, и я бы не забеременела. Значит, в какой-то степени это и ваш ребенок.

Он посмотрел на нее отчасти даже с уважением. Только богословам было бы под силу дать должную оценку извилистым путям ее логики и отделить в них добрый умысел от злого, а ведь совсем еще недавно он думал, что такое юное и бесхитрое существо не может представлять никакой опасности. Она улыбнулась ему чарующей улыбкой, словно надеясь выудить у него еще какую-нибудь сказку и оттянуть время сна. Он сказал:

— Лучше расскажите мне, что там у вас произошло в Люке, когда вы увиделись с мужем.

Она сказала:

— Кошмар! Просто кошмар! Я думала, он меня убьет. Про дневник не поверил. И донимал, донимал меня расспросами всю ночь и под конец так измучил, что я сказала: «Хорошо. Пусть будет по-твоему. Я спала с ним. И здесь, и дома, и всюду, и везде». Тогда он ударил меня. И еще хотел ударить, да мистер Паркинсон помешал.

— Ах, Паркинсон тоже там был?

— Он прибежал на мой крик.

— Сделать несколько фотоснимков?

— Нет, по-моему, он в тот раз ничего не снимал.

— А потом что было?

— Ну, а потом он узнал и про все вообще. Он хотел сейчас же увезти меня домой, а я сказала, что мне надо побыть в Люке, пока я не буду знать наверняка. Он спросил: «Что знать?» И тут все выплыло наружу. Утром я пошла к доктору, выслушала там страшное подтверждение и, не возвращаясь в гостиницу, поехала сюда.

— Рикэр думает, что ребенок мой?

— Я всячески ему втолковывала, что ребенок его... потому что до некоторой степени это так и есть.

Со вздохом удовлетворения она вытянулась на кровати и сказала:

— Господи, до чего же хорошо. А как было страшно ехать одной! Ведь еды я из дому не взяла,

койку тоже, приходилось спать прямо в машине.

— В машине, которая принадлежит ему?

— Да. Но я надеюсь, что мистер Паркинсон довезет его до дому.

— Я бы попросил вас сказать отцу Тома, как все было на самом деле, но думаю, что это бесполезно.

— Да, корабли-то я уже сожгла.

— Вы сожгли единственное мое пристанище, — сказал Куэрри.

— Надо же мне как-то вырваться отсюда, — извиняющимся тоном ответила она.

Впервые в жизни он столкнулся с эгоизмом, таким же безграничным, как и его собственный. Та, другая Мари была отомщена, а что касается Toute a toi — вот когда она может торжествовать.

— Чего же вы теперь ждете от меня? — спросил Куэрри. — Ответной любви?

— Это было бы очень мило, но если вы не захотите, так им придется отослать меня на родину.

Он подошел к двери и отворил ее. Мать Агнеса маячила в конце коридора. Он сказал:

— Я сделал все, что мог.

— Вы, наверно, заставляли эту бедняжку выгораживать вас?

— Мне она, конечно, во всем призналась, но магнитофона у меня нет. Какая жалость, что церковь осуждает установку потайных микрофонов.

— Могу я попросить вас, мосье Куэрри, чтобы вы больше не появлялись в нашем доме?

— Я и без просьб не появлюсь. Но вы сами будьте поосторожнее с этим маленьким динамитным патроном, что в той комнате.

— Это несчастная, невинная молодая женщина...

— Ах, невинная! Пожалуй, вы правы. Да избавит вас Бог от всяческой невинности. Грешники, по крайней мере, знают, что творят.

Перегоревшие пробки еще не починили, и ноги сами привели его по тропинке в миссионерский поселок. Ливень ушел к югу, но вспышки молнии нет-нет да и колыхали небо над рекой и лесной чащей. К зданию миссии надо было идти мимо дома доктора. В окне у него горела керосиновая лампа, и сам он стоял рядом и вглядывался в темноту. Куэрри постучал в дверь.

Колэн спросил:

— Ну, что там у вас?

— Она упорствует в своей лжи. Это единственное, что поможет ей бежать.

— Бежать?

— Бежать от Рикэра и из Африки.

— Отец Тома держит там совет. Меня это не касается, и я ушел.

— Они, наверно, захотят, чтобы я уехал?

— Ах, если бы настоятель был здесь! Отец Тома — личность не совсем уравновешенная.

Куэрри сел к столу. Атлас по лепре был открыт на странице с пестрыми завихрениями рисунков. Он спросил:

— Что это такое?

— У нас это называется «рыбка плывет вверх по реке». Вот эти яркие пятнышки — это бациллы, кишащие в нервных стволах.

— Когда я сюда добрался, — сказал Куэрри, — мне думалось, что дальше путей нет.

— Ничего, пронесет. Пусть выговорятся. Нам с вами есть еще над чем поработать. Больница построена, и теперь надо заняться передвижными амбулаториями и проектом новых уборных, о котором я вам говорил.

— Мы имеем дело не с больными, доктор, и не с вашими пестрыми рыбками. Их поведение можно определить заранее. А эти люди вполне нормальны и здоровы, и за их поступки ручаться нельзя. Похоже, что мне, так же как и Део Грациасу, не суждено добраться до Пенделэ.

— Я не подчиняюсь отцу Тома. Можете жить у меня, если вас не испугает, что спать вам придется в моей рабочей комнате.

— Нет, нет. Вам нельзя ссориться с ними. Вы здесь так нужны. А мне придется уехать.

— Куда же вы уедете?

— Не знаю. Странно, не правда ли? Когда я приехал сюда, мне казалось, что я не способен испытывать боль, и это меня очень беспокоило. Вероятно, прав был миссионер, которого я встретил тогда на реке. Он сказал, что страдания рано или поздно придут. И вы мне говорили то же самое.

— Я очень жалею, что так вышло.

— А про себя я этого, пожалуй, сказать не могу. Вы как-то говорили, будто, страдая, начинаешь чувствовать, что приобщаешься к бытию человеческому со стороны христианского мифа. Помните? «Я страдаю, следовательно, я существую». Нечто подобное написано у меня в дневнике, но, когда я это написал и при каких обстоятельствах, не помню. Да и вместо «страдаю» там было какое-то другое слово.

— Если человек вылечился, — сказал доктор, — разве можно пускать его силы на ветер!

— Вылечился?

— Вам больше не понадобится делать анализы соскобов.

По рассеянности отец Жозеф вытер нож о полу сутаны и сказал:

— Все-таки не следует забывать, что обвинение держится только на ее словах.

— Зачем ей было выдумывать такую страшную историю? — спросил отец Тома, — Ребенок-то, по-видимому, ожидается на самом деле.

— Куэрри столько для нас сделал, — сказал отец Поль. — Мы должны быть благодарны ему.

— Благодарны? Вы это серьезно, отец? После того как он выставил нас на всеобщее посмешище? «Отшельник с берегов Конго. Святой с прошлым». Сколько всего о нем было написано в газетах! А что теперь будут писать?

— Вас эти писания радовали больше, чем самого Куэрри, — сказал отец Жан.

— Конечно, радовали. Я в него верил. Я думал, что он появился здесь с добрыми намерениями. И даже выгораживал его перед настоятелем, когда тот предостерегал меня. Но в те дни я ведь знать не знал, что его заставило приехать сюда.

— А если теперь узнали, поделитесь с нами. — Отец Жан говорил сухо и односложно, как на дискуссиях по богословской этике, когда все то, что касалось сексуальных грехов, надо было подавать без всякой эмоциональной окраски.

— Я только могу предположить, что он бежал из Европы от каких-то неприятностей с женщинами.

— Неприятности с женщинами — термин не точный, а кроме того, разве нам не предписано бежать от этого? Святой Августин советовал не спешить в таких случаях, но его советом руководствуются далеко не все и не везде.

— Куэрри прекрасный строитель, — упорствовал отец Жозеф.

— Так что же вы предлагаете? Чтобы он остался в миссии и жил во грехе с мадам Рикэр?

— Конечно, нет, — сказал отец Жан. — Мадам Рикэр завтра же должна уехать отсюда. Судя по вашим же словам, он не жаждет отправиться следом за ней.

— На том дело не кончится, — сказал отец Тома. — Рикэр потребует отдельного жительства. Может быть, даже подаст на Куэрри в суд и начнет бракоразводный процесс, и тогда вся эта поучительная история попадет в газеты. Куэрри и без того их интересуется. Как вы думаете, генерал обрадуется, когда прочитает за завтраком о скандале в нашем лепрозории?

— Конек, к счастью, уже поставлен, — сказал отец Жозеф, все вытирая и вытирая нож, — но нам еще столько надо построить.

— А что, если просто подождать? — сказал отец Поль. — Кто знает? Может, она все выдумала. Может, Рикэр не предпримет никаких шагов. В газетах ничего не будет. Ведь им не интересно показывать миру такого Куэрри. Может, вся эта история и не дойдет до ушей или глаз генерала.

— А вы думаете, епископ так ничего и не узнает? В Люке сейчас, наверно, только и разговоров что об этом. В отсутствие настоятеля я несу ответственность.

Заговорил брат Филипп — впервые за все время.

— Там кто-то ходит, — сказал он. — Отпереть дверь?

Это был Паркинсон, мокрый до костей, потерявший дар речи от спешки. Он водил ладонью по левой стороне груди, будто стараясь усмирить зверька, что сидел у него под рубашкой, как у спартанца.

— Подайте ему стул, — сказал отец Тома.

— Где Куэрри? — спросил Паркинсон.

— Не знаю. Должно быть, у себя.

— Рикэр его разыскивает. Он ходил к сестрам, но не застал его там.

— А откуда вы знали, где искать?

— Она оставила дома записку Рикэру. Мы бы догнали ее, да машина сломалась у последней переправы.

— Где сейчас Рикэр?

— Бог его знает. Темнотища-то какая. Может, сбился с дороги и ухнул в реку.

— Он виделся с женой?

— Нет. Какая-то старая монашка вытолкала нас обоих за дверь и заперлась на ключ. Тогда он еще пуще взбеленился. Мы с ним и шести часов не спали с тех пор, как выехали из Люка, а это было больше трех дней назад.

Он покачивался взад и вперед, сидя на стуле.

— О, если б этот грузный куль мясной... Цитата. Из Шекспира. У меня больное сердце, — пояснил он отцу Тома, которому слабое знание английского мешало следить за ходом его мыслей. Остальные слушали внимательно, но понимали и вовсе немного. Всем им только становилось ясно, что дело безнадежно запутывается. — Дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь выпить, — сказал Паркинсон.

Отец Тома обнаружил шампанское на дне одной из бутылок, которые все еще стояли на столе среди куриных костей и расковырянного вилками недоеденного суфле.

— Шампанское? — воскликнул Паркинсон. — Я бы предпочел глоточек джина.

Он посмотрел на бутылки и рюмки — в одной остался недопитый портвейн, и сказал:

— Вы тут себе ни в чем не отказываете.

— У нас сегодня особенный день, — несколько смущенно ответил отец Тома, впервые взглянув на стол как бы со стороны.

— Еще бы не особенный! Я думал, мы так и не успеем на паром, а теперь из-за грозы черт знает когда отсюда выберешься. И вообще, знал бы, никогда бы не приехал на этот черный континент, будь он проклят! Каркнул ворон: «Никогда!» Цитата. Не помню откуда.

Снаружи слышались крики, но слов нельзя было разобрать.

— Это он, — сказал Паркинсон. — Ходит-бродит. И рвется в бой. Я его спрашиваю: разве христианам не полагается все прощать? Но ему сейчас что говори, что нет — бесполезно.

Голос слышался ближе.

— Куэрри! — разобрали они. — Куэрри! Где вы, Куэрри?

— Из-за какой чепухи подняли всю эту кутерьму! Да там, наверно, никаких фиглей-миглей и в помине не было. Я его убеждал: «Они всю ночь говорили, мне же было слышно. Любовники не станут всю ночь разговоры разговаривать. У них бывает с паузами».

— Куэрри! Где вы, Куэрри?

— Ему, по-моему, нужно, чтобы подтвердилось наихудшее. Понимаете почему? Если у них с Куэрри идет борьба за женщину, значит, они на равной ноге. — И он добавил с неожиданной проницательностью: — Не хочется ему быть ничтожеством, это для него нож острый.

Дверь снова отворилась, и на пороге появился взлохмаченный, промокший до нитки Рикэр — растение в ванной, вытянувшееся от чрезмерной сырости. Он осмотрел миссионеров, всех по очереди, точно ожидая, что среди них может оказаться переодетый в сутану Куэрри.

— Мосье Рикэр, — начал было отец Тома.

— Где Куэрри?

— Пожалуйста, входите, садитесь, давайте поговорим...

— До того ли мне? — сказал Рикэр. — Я агонизирую. — Тем не менее он сел — на сломанный стул, и еле державшаяся спинка у стула треснула. — Я потрясен, я страдаю, отец. Я душу открыл этому человеку, поделился с ним самыми своими сокровенными мыслями, и вот как меня отблагодарили.

— Давайте обсудим все спокойно, трезво.

— Он насмеялся надо мной и презирал меня, — сказал Рикэр. — Кто ему дал право меня презирать? Пред очами Господа мы все равны. Все — и скромный управляющий плантацией и знаменитый Куэрри. Посягнуть на христианский брак! — От него сильно пахло виски. Он сказал: — Года через два я подам в отставку. Уж не думает ли он, что я буду растить его ублюдка на свою пенсию?

— Вы провели три дня в пути, Рикэр. Вам надо выспаться. Потом мы...

— Она не хотела со мной спать. Никогда не хотела. Вечно какие-нибудь отговорки. И в первый же его приход, только потому, что он знаменитость...

Отец Тома сказал:

— Нам крайне нежелательно доводить дело до скандала.

— Где доктор? — вдруг крикнул Рикэр. — Они дружки, их водой не разольешь.

— Доктор у себя дома. Он тут совершенно ни при чем.

Рикэр шагнул к двери. Он застыл у порога, точно актер, забывший свою реплику.

— Ни один суд меня не осудит, — сказал он наконец и вышел в темноту, под дождь.

Первую минуту они молчали, а потом отец Жозеф спросил, обращаясь ко всем сразу:

— Это как же понимать?

— Утром мы над всем этим посмеемся, — сказал отец Жан.

— Не вижу тут ничего смешного, — отрезал отец Тома.

— Я хочу сказать, что вся эта история смахивает на какой-нибудь фарс в Пале-Рояле. Мне приходилось их читать. Оскорбленный муж то в дверь, то из двери.

— Я не читаю фарсов, которые ставят в Пале-Рояле, отец.

— Иной раз кажется, что Господь Бог был настроен не очень серьезно, когда награждал человека половым инстинктом.

— Если *такие* доктрины вы преподаете на занятиях по богословской этике...

— И когда изобрел богословскую этику. Если уж на то пошло, так у святого Фомы Аквината написано, что Господь сотворил мир играючи.

Брат Филипп сказал:

— Вы меня извините...

— Вам сильно повезло, отец Жан, что вся ответственность за миссию возложена на меня, а не на вас. Я не могу относиться ко всему этому как к фарсу, что бы там ни писал святой Фома. Куда вы, брат Филипп?

— Он что-то говорил про суд, отец, и я подумал: а вдруг у него оружие? Может, надо пойти, предупредить...

— Ну, это уж слишком! — сказал отец Тома. Он повернулся к Паркинсону и спросил по-английски: — Есть у него револьвер?

— Понятия не имею. По теперешним временам многие ходят с револьверами в кармане. Но пустить его в ход он не посмеет. Я же говорю, что ему только одного хочется — придать себе весу.

— Если вы мне разрешите, отец, я все-таки схожу к доктору Колэну, — сказал брат Филипп.

— Смотрите, брат, будьте осторожнее, — сказал отец Поль.

— Ничего! Для меня огнестрельное оружие вещь знакомая, — ответил ему брат Филипп.

5

— Там кто-то кричит? — спросил доктор Колэн.

— Я не слышал.

Куэрри встал и взгляделся в темноту за окном. Он сказал:

— Скорее бы брат Филипп починил электричество. Пора домой, а фонарика у меня нет.

— Теперь тока уже не дадут. Одиннадцатый час.

— Они, вероятно, потребуют, чтобы я уехал как можно скорее? Но пароход вряд ли придет раньше, чем через неделю. Может, кто-нибудь отвезет меня на грузовике?

— Сомневаюсь. Дорогу, наверно, развезло после такого ливня, и эта гроза не последняя.

— Тогда у нас впереди несколько дней, и мы сможем заняться передвижными амбулаториями, о которых вы так мечтаете. Но я не инженер. От брата Филиппа проку будет больше, чем от меня.

— Да ведь мы здесь всегда довольствуемся самым малым, — сказал доктор Колэн. — Что мне нужно? Нечто вроде сборного домика на колесах, только и всего. Такого, чтобы можно было ставить на шасси полуторки. Куда этот листок запропастился? Я хотел показать вам — тут у меня возникла одна идея...

Доктор выдвинул ящик письменного стола. В ящике лежала фотография женщины. Невидимая постороннему глазу, она всегда лежала там, не боясь пыли, лежала и ждала, когда ящик откроют.

— А я буду скучать по этой комнате, куда бы меня ни забросило. Вы никогда мне не рассказывали о своей жене, доктор. Отчего она умерла?

— Сонная болезнь. В первые годы нашей жизни здесь она подолгу бродила в джунглях, все уговаривала прокаженных, чтобы они приходили к нам лечиться. В те времена еще не было эффективных средств против сонной болезни. Люди умирают преждевременно.

— А я-то надеялся, что лягу в ту же землю, что и вы и она. Втроем мы образовали бы здесь эдакий атеистический уголок.

— А были бы вы там у места?

— Почему же нет?

— Вас слишком тревожит утрата веры, Куэрри. Вы то и дело трогаете эту болячку, как будто хотите сковырнуть ее. С меня достаточно существования мифа, а вам этого мало, вам подавай либо веру, либо неверие.

Куэрри сказал.

— Там кого-то зовут. Мне на секунду показалось, что меня. Человеку всегда кажется, что это его зовут. Даже если в именах совпадает только один слог. Мы такие эгоцентрики.

— Вы, должно быть, очень крепко верили, если так тоскуете без веры.

— Если это можно назвать верой, так я проглотил тот миф целиком, не разжевывая. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Когда я читаю теперь это место, мне так ясна его символичность, но разве можно требовать от бедных рыбаков, чтобы они понимали символику? Я только, поддаваясь суеверию, вспоминаю, что от причастия я отказался до того, как перестал верить. Священники усмотрели бы тут определенную связь, Рикэр назвал бы это отвержением

Божественной благодати. Да, пожалуй, вера — это своего рода призвание, а у большинства людей в сердце и в уме не хватает места для двух призваний сразу. Если мы на самом деле верим во что-то, нам волей-неволей надо идти в своей вере все дальше и дальше. Иначе жизнь постепенно сведет ее на нет. Моя архитектура топталась на месте. Нельзя быть ни полуверующим, ни полuarхитектором.

— Стало быть, вы хотите сказать, что и этой половинки в вас теперь не осталось?

— Вероятно, оба мои призвания были недостаточно сильными, и жизнь, которую я вел, убила их. Надо, чтобы призвание в тебе было очень, очень сильное, иначе ты не устоишь перед успехом. Популярный священник, популярный архитектор... Отвращение с такой легкостью убивает их талант.

— Отвращение?

— Да. Отвращение к похвалам. Если бы вы знали, доктор, до какой степени они глупы и тошнотворны! Люди, губившие мои церкви, потом громче всех пели мне хвалу. Книги, которые обо мне писали, благочестивые побуждения, которые мне навязывали, — этого было вполне достаточно, чтобы отвратить меня от чертежной доски. Устоять перед всем этим с моей верой было нельзя. Славословия попов и ханжей — этих Рикэров, которых хватает везде и всюду.

— Люди большей частью довольно легко мирятся со своим успехом. А вы приехали сюда.

— По-моему, я почти от всего вылечился, даже от чувства отвращения. Мне здесь было хорошо.

— Да, вы уже довольно свободно начинали владеть пальцами, несмотря на увечье. А одна болячка все-таки осталась, и вы все время ее бередите.

— Ошибаетесь, доктор. Вы иной раз совсем как отец Тома.

— Куэрри! — теперь уже совершенно явственно донеслось из темноты. — Куэрри!

— Рикэр, — сказал Куэрри. — Должно быть, приехал сюда за женой. Надеюсь, сестры не пустили его к ней. Пойду поговорю...

— Пусть сначала остынет.

— Надо же ему объяснить, пусть видит, как это все нелепо.

— Тогда отложите объяснение до утра. В темноте он все равно ничего не увидит.

— Куэрри! Куэрри! Где вы, Куэрри!

— Вот дурацкое положение! — сказал Куэрри. — И надо же, чтобы это случилось именно со мной. Безвинный прелюбодей. Недурное название для комедии.

Губы у него скривились в попытке улыбнуться.

— Дайте мне лампу.

— Мой вам совет, Куэрри, не связывайтесь вы с ним.

— Надо же что-то сделать. Он поднял такой крик. Отец Тома прав, это действительно скандал.

Доктор нехотя вышел следом за ним. Гроза совершила полный круг и снова двигалась на них откуда-то из-за реки.

— Рикэр! — крикнул Куэрри, высоко поднимая лампу. — Я здесь. — К ним кто-то бежал, но, когда бегущий попал в круг света, они увидели брата Филиппа.

— Прошу вас, зайдите в дом, — сказал брат Филипп, — и запритесь. Мы опасаемся, что Рикэр с оружием.

— Что он, сумасшедший? Не будет же он стрелять! — сказал Куэрри.

— Ну, все-таки... во избежание неприятностей...

— Неприятностей? Удивительная у вас способность преуменьшать, брат Филипп.

— Я вас не понял.

— Не важно. Я послушаюсь вашего совета и залезу к доктору Колэну под кровать.

Он пошел было к дому и вдруг услышал голос Рикэра:

— Стойте. Ни с места. — Рикэр нетвердыми шагами вышел из темноты. Он обиженно забрюзжал: — Я вас ищу, ищу.

— Вот я, здесь.

Все трое посмотрели на его правую руку, засунутую в карман.

— Мне надо поговорить с вами, Куэрри.

— Ну, говорите, а потом я тоже кое-что вам скажу.

Наступило молчание. Где-то в лепрозории залаяла собака. Молния озарила их, точно вспышка блицламп.

— Я жду, Рикэр.

— Вы... вы отступник.

— Что же, затеем диспут на религиозные темы? Я признаю, что в вопросе о любви к Богу вы более сведущи.

Ответ Рикэра был почти целиком погребен под тяжким обвалом грома. И только конец последней фразы высунулся наружу, точно пара ног, торчащих из-под обломков.

— ...убедить меня, что запись в дневнике сделана в шутку, а сами прекрасно знали, что она с ребенком.

— С вашим ребенком. Не с моим.

— Докажите. Это еще надо доказать.

— Доказательство от противного — вещь трудная, Рикэр. Конечно, доктор может взять у меня кровь на определение группы, но вам придется ждать месяцев шесть...

— Кто дал вам право смеяться надо мной!

— Я смеюсь не над вами, Рикэр. Ваша жена не пощадила нас обоих. Я назвал бы ее лгуньей, да она вряд ли отдает себе отчет в том, что такое ложь. По понятиям вашей жены, правда — это все то, что послужит ей защитой или поможет уехать домой, в детскую.

— Вы живете с ней и ее же осыпаете оскорблениями. Вы трус.

— Может быть.

— Может быть. Что бы я ни сказал, мои слова не способны разгневать нашего знаменитого Куэрри. Он такая важная персона, а тут всего лишь управляющий маслобойным заводом. У меня бессмертная душа, Куэрри, как и у вас.

— Я не претендую на бессмертие. Можете быть важной персоной во владениях Господа Бога, Рикэр. А знаменитым я числюсь только у вас. Во всяком случае, сам себя я таковым не считаю.

— Мосье Рикэр, пойдемте в миссию, — умоляюще проговорил брат Филипп. — Там вам поставят кровать. За ночь отдохнем, и всем станет легче. А утром примем холодный душ, — добавил он, и как бы в пояснение его слов на них вдруг водопадом низвергся ливень. Куэрри издал странный, хриплый звук, в котором доктор за последнее время стал узнавать смех, и Рикэр выстрелил два раза подряд. Лампа упала вместе с Куэрри и разбилась, горящий фитиль вспыхнул, на секунду осветил открытый рот и два удивленных глаза и погас под лавиной дождя.

Доктор рухнул на колени прямо в лужу и стал шарить в темноте. Голос Рикэра проговорил:

— Он смеялся надо мной. Кто дал ему право надо мной смеяться?

Доктор сказал брату Филиппу:

— Вот голова, нащупал. Найдите, где ноги. Надо внести его в дом. — Он крикнул Рикэру: — Бросьте револьвер, болван, и помогите нам.

— Не над Рикэром, — сказал Куэрри.

Доктор нагнулся ниже, слова были еле слышны. Он сказал:

— Не надо говорить. Сейчас мы вас поднимем. Все будет хорошо.

Куэрри сказал:

— Над собой смеялся.

Они перенесли его на веранду и положили там, куда не заливал дождь. Рикэр принес подушку ему под голову. Он сказал:

— Нечего было смеяться.

— Не так уж легко это у него получалось, — сказал доктор, и снова послышались странные звуки, напоминающие судорожный смешок.

— Нелепость, — сказал Куэрри. — Нелепость или же...

Но какую альтернативу — философскую или психологическую — он имел в виду, они так и не узнали.

6

Настоятель вернулся через несколько дней после похорон, и вдвоем с доктором Колэном они пошли на кладбище. Куэрри похоронили недалеко от мадам Колэн, оставив, впрочем, место между могилами, которое в свое время понадобится доктору. Приняв во внимание столь исключительные обстоятельства, отец Тома не настаивал на кресте, и в могильный холм воткнули только дощечку с вырезанным на ней именем Куэрри и двумя датами. Обошлись и без католического погребального обряда, хотя молитву у могилы отец Жозеф все же прочел. Кто-то (вероятно, Део Грациас) поставил возле могильного холмика консервную банку из-под джема, полную веточек и трав, как-то особенно переплетенных между собой. Это было похоже скорее на приношение Нзамбе, чем на погребальный венок. Отец Тома хотел выбросить банку, но внял уговорам отца Жозефа.

— На христианском кладбище этому не место, — возражал отец Тома. — Весьма двусмысленное приношение.

— Он сам тоже был двусмысленный, — ответил отец Жозеф.

Паркинсон раздобыл в Люке венок — по всем правилам, с лентой, на которой было написано: «От трех миллионов читателей „Пост“. Природа — мой кумир, а вслед за ней — Искусство. Роберт Браунинг»^[58]. Он сфотографировал его для использования снимка в дальнейшем, но, проявив неожиданную скромность, сняться рядом с ним не захотел.

Настоятель сказал Колэну:

— Не перестаю сокрушаться о том, что меня здесь не было. Может, мне удалось бы образумить Рикэра.

— Рано или поздно все равно что-нибудь стряслось бы, — сказал Колэн. — Они не оставили бы его в покое.

— Кто «они»?

— Дураки, назойливые дураки, которых везде хватает. Он от всего вылез, кроме своей славы, но от славы не вылечишь, так же как моим увечным не вернешь пальцев на руках и на ногах. Я отсылаю их в город, но в магазинах на них все глаза, на улицах тоже обращают внимание и показывают друг другу — вон, смотрите. Точно так же обстоит дело и со славой — она увечит природу человека. Вы со мной?

— А вам куда?

— В амбулаторию. И так уж слишком много времени потратили на мертвого.

— Я вас провожу немножко.

Настоятель сунул руку в карман сутаны, но сигары не оказалось.

— Вы видели Рикэра перед отъездом из Люка? — спросил Колэн.

— Да, конечно. Он прекрасно устроился в тюрьме. Ходил к исповеди и хочет каждое утро

причащаться. Усиленно читает Гарригу-Лагранжа. И, разумеется, весь Люк видит в нем героя. Мистер Паркинсон уже взял у него интервью, передал по телеграфу в свою газету, и скоро к нам повалят журналисты из метрополии. Если не ошибаюсь, мистер Паркинсон озаглавил свой очерк «Смерть отшельника. Святой с изъяном». Исход судебного процесса, разумеется, предрешен.

— Оправдают?

— Безусловно. Le crime passionnel^[59]. И теперь кто чего добивался, тот свое и получил. Счастливая концовка, не правда ли? Рикэр почувствовал себя значительной личностью в глазах Бога и человека. Он даже завел со мной разговор по поводу ходатайства в Бельгийскую коллегия в Риме о расторжении брака, но я его не поддержал. Мадам Рикэр скоро уедет домой, и ребенок останется у нее. Мистер Паркинсон получил в руки такой материал, о каком и мечтать не мог. Кстати, я очень рад, что Куэрри не успел прочесть его второй очерк.

— Но для Куэрри такой конец вряд ли можно считать счастливым.

— Вы думаете? Но ведь ему все хотелось забраться куда-то подальше. — Настоятель смущенно спросил: — Как вы полагаете, было у него что-нибудь с мадам Рикэр?

— Нет.

— Не знаю. Судя по второму очерку Паркинсона, это был человек весьма... гм!.. любвеобильный.

— Я в этом далеко не уверен. И у него самого были сомнения на сей счет. Он как-то сказал мне, что женщин он только использовал, но, по-моему, этот человек был безжалостен к самому себе. Мне иной раз даже думалось: а не страдает ли он холодностью? Как женщина, которая непрерывно меняет любовников в надежде на то, что когда-нибудь ей все-таки удастся испытать истинное наслаждение. Ритуал любви он, по его словам, выполнял исправно, даже по отношению к Богу, в те годы, когда еще верил. Но потом ему стало ясно, что любит он только свою работу, и тогда с ритуалом было покончено. В дальнейшем он уже не мог притворяться и выдавать свои чувства за любовь, а тогда и побуждений для работы у него больше не осталось. Это как во время кризиса, когда больной теряет всякий интерес к жизни. В такие минуты люди часто кончают самоубийством, но он был крепкий человек, очень крепкий.

— Вы говорите, он совсем вылечился?

— Я убежден в этом. Он научился служить людям и даже смеяться. Станный это был смех, но все же смех. Я побаиваюсь людей, которые никогда не смеются.

Настоятель несмело проговорил:

— А я так вас понял, что он начал понемногу обретать прежнюю веру.

— О нет! Не веру, а всего лишь оправдание для жизни. Вы всюду стараетесь найти шаблон, отец.

— Но раз шаблон существует... У вас нет сигары?

— Нет.

Настоятель сказал:

— Мы слишком любим докапываться до мотивов человеческих поступков. Я как-то говорил об этом отцу Тома. Вы помните, что сказал Паскаль? Что человек, отправляющийся на поиски Бога, уже обрел его. Не так ли и с любовью? Может быть, отправляясь на поиски любви, мы ее уже обретаем.

— Он был склонен, я сужу об этом по его же собственным словам, склонен ограничивать свои поиски районом женской постели.

— Ну что ж, место для этого не такое уж плохое. Сколько на свете людей, которые находят там одну лишь ненависть.

— Как Рикэр?

— Мы слишком мало знаем Рикэра, чтобы осуждать его.

— Какой вы цепкий, отец! Никого так просто не отпустите. Вам, наверно, и Куэрри хотелось бы заполучить в свою собственность.

— Что-то я не замечал, чтобы вы отступались от больного, до тех пор пока он не умрет.

Они подошли к амбулатории. Больные сидели на раскаленных цементных ступеньках и ждали, что будет. К стенам новой больницы были приставлены лестницы, последние работы шли полным ходом. Конек прогнуло во время последней грозы, но он все же держался на месте, крепко привязанный к стропилам канатом из пальмового волокна.

— Я заметил по счетам, — сказал настоятель, — что вы перестали прописывать витаминное драже. Разумна ли такая экономия?

— Я не уверен, что лечение препаратом ДДС вызывает анемию. Это все от глистов. Строительство уборных обойдется дешевле, чем покупка витаминного драже. Это первое, чем мы должны заняться. То есть должны были заняться. Сколько сегодня пришло? — спросил он своего помощника.

— Около шестидесяти.

— Ваш Бог, — сказал доктор Колэн, — должен испытывать легкое разочарование, глядя на созданный им мир.

— Плохо вас обучали теологии в детстве. Богу не ведомы ни разочарования, ни муки.

— Может быть, поэтому я и не утруждаю себя верой в него. — Доктор сел за стол и взял чистую карточку. — Первый! — крикнул он.

Первым был трехлетний малыш, совсем голенький, с раздутым животом, под которым болтался крантик. Он вошел в приемную, запустив палец в рот. Доктор стал водить рукой ему по спине, его мать стояла рядом.

— А я знаю этого молодого человека, — сказал настоятель. — Он все прибегал ко мне за конфетами.

— Болен. Все ясно, — сказал доктор Колэн. — Пощупайте... вот утолщение, вот. Но не беспокойтесь, друг мой, — сдерживая ярость, проговорил он. — Через год, через два мы его вылечим, и обещаю вам, что на сей раз увечий не будет.

Комментарии

К началу шестидесятых годов, когда вышел роман «Ценой потери» (1961, издательство «Хайнеманн»), Грин уже был известным писателем с устоявшейся творческой репутацией. Его книги издавались на 23 языках, по ним было поставлено 12 фильмов. Но несмотря на большой литературный опыт, роман «Ценой потери», создававшийся в течение полутора лет, дался писателю особенно трудно: «Никогда прежде у меня не было такого неподатливого и такого тягостного романа». Повороты его сюжетного действия, развитие коллизии, образы персонажей Грин сначала разрабатывал на страницах дневника, который вел во время путешествия по Бельгийскому Конго. В эту часть Африки романист отправился в январе 1959 г., уже представляя завязку будущего произведения: «В далекой колонии для прокаженных появляется, неизвестно зачем, какой-то человек». Дневник, вошедший потом в публицистическую книгу «В поисках героя» (1961), отразил впечатления Грина об Африке, о плавании в джунглях по реке Конго, о полученных им сведениях о прокаже и способах ее лечения, за что писатель был особенно благодарен бельгийскому врачу Мишелю Леша.

Медицинский термин «burnt-out case», использованный Грином для названия романа, не поддается точному переводу на русский язык (варианты его, первое время бытовавшие в советской критике, — «Перегоревший» и «Цена исцеления»). По свидетельству писателя, приведенному им в конголезском дневнике, бельгийские врачи использовали это английское выражение для обозначения тех случаев, когда больной излечивался от прокасы, уже лишившись пальцев рук и ног, уже будучи искалеченным болезнью. Во французском языке эквивалента подобному выражению нет, поэтому во Франции роман был опубликован под названием «Сезон дождей».

Сложный медицинский термин показался писателю весьма удачным для определения обобщенно-символической ситуации, в которой предстает перед нами его герой — архитектор Куэрри, почувствовавший себя духовно и творчески исчерпанным и вставший на путь исцеления ценой разрыва со своей прежней жизнью, отказа от своего прежнего «я». Несмотря на документальную точность в изображении колонии для прокаженных и стадий болезни, что подтверждает дневник писателя, образ прокасы в романе имеет и нравственно-философский смысл, притом отчетливо неоднозначный. Проказа — это и проклятье мучительного самовыражения, которое терзает художника, и поклонение ложным кумирам, и тенета духовного гнета, в которые попадает творческая личность благодаря своей известности.

Роман «Ценой потери» можно назвать одним из наиболее интимных произведений Грина, отразивших его собственные переживания. Как и его герой Куэрри, писатель испытал большое моральное давление, даже преследование со стороны читателей и критиков, вообразивших, что в лице романиста они имеют дело с католиком, сосредоточенным на проблемах веры, и назойливо требовавших от него разрешения их религиозных и нравственных проблем. Эта кампания началась после выхода романа «Суть дела» и принесла Грину много неприятностей и даже страданий.

Личный опыт отношений с фанатиками от веры, творческая зрелость, активность художественного поиска, особенно в плане сатирического осмысления внешней, ортодоксальной стороны религиозной морали, — все это придало драматизм и остроту уже давно волновавшей писателя коллизии — индивид и общество (разные варианты ее разработки предстают и в «Силе и славе», и в «Нашем человеке в Гаване»). Устремленность общества на духовное порабощение личности, прежде всего личности незаурядной, творческой, ярко раскрывается в поведении религиозного фанатика отца Тома, ханжи Рикэра, журналиста Паркинсона, усердного создателя ненавистных Грину абстракций и ложных мифов.

Вместе с тем в романе впервые с жесткой определенностью предъявляются и моральные претензии к личности, противопоставившей себя человеческому сообществу. Творческая и нравственная исчерпанность Куэрри, его духовная «проказа» обусловлены не только давлением среды, но и предельным эгоизмом, иссушающим индивидуализмом героя, равнодушием его, в бытность знаменитым, к другим людям. Вот почему проблема излечения Куэрри связана не только с обретением им вкуса к жизни, способности и смеяться, и страдать, но и с тем, насколько он сам ощутит потребности и боль другого человека, насколько он почувствует себя кому-то нужным, — в этом направлении и развивается сюжет. Правда, писатель и здесь не удерживается от горького парадокса: сосредоточенный только на самовыражении, Куэрри в прошлом строил дворцы и храмы; думая не о людях, которые будут жить в здании, а о проблемах пространства и света, он творил. Теперь же, желая быть полезным, он проектирует больницы и туалеты, медицинские кресла. Посвятив себя гуманным целям, он утратил творческий порыв.

Но наряду с традиционным гриновским скепсисом, в романе присутствует и нечто новое — это образ доктора Колэна, противопоставленного не только «дуракам и ханжам», таким как Рикэр и Тома, но и — объективно — гуманному отцу настоятелю, в чьей чрезмерной терпимости к окружающим, нежелании выяснять мотивы их поступков проглядывает равнодушие к человеку. А Колэн предстает не как наблюдатель, а как активный творец добра. Он не просто исполнен сострадания к людям, что для Грина всегда было критерием подлинной человечности, он бросает вызов трагическому несовершенству жизни, веря в исторический прогресс, в то, что мир можно изменить к лучшему.

Говоря о необычности этого образа для творчества Грина, известный английский критик и ученый Уолтер Аллен справедливо заметил, что в прежних произведениях писателя подобный характер был бы описан с жестокой иронией. Действительно, атеизм Колэна, его любовь к земному, оптимизм, целеустремленность — все, что в других романах выступало свидетельством духовной бедности, ограниченности, теперь трактуется уважительно и с симпатией. Это принципиально новый тип положительного героя Грина, свидетельствующий об исканиях гуманистической мысли писателя.

С. Филюшкина

Примечания

[1] *Зашифрованный роман* (фр.).

[2] *Тоска, уныние* (фр.).

[3] *Декарт Рене* (1596-1650) — французский ученый и философ; в обиход вошло его выражение: «Я мыслю, следовательно, я существую».

[4] *...попискивали вампиры*. — Здесь: представители рода млекопитающих подотряда летучих мышей.

[5] *Четыреста двадцать один* (фр.)

[6] *Colon* — название белых колонистов в Конго.

[7] *Детективные романы* (фр.).

- [8] *Благодарение Богу* (лат.).
- [9] *...завихрения на рисунках напоминали репродукции ван-гоговских пейзажей.* — Винсент Ван-Гог (1853–1890) — голландский живописец, представитель постимпрессионизма; для его поздних работ характерны контраст цвета, неровность и рельефность красочного слоя.
- [10] *Швейцер* Альберт (1875–1965) — немецко-французский мыслитель, врач, теолог и миссионер. В 1913 г. организовал госпиталь для прокаженных в Ламбарене (Габон).
- [11] *Дамьен*, настоящее имя и фамилия Жозеф де Вестер (1840–1889) — бельгийский миссионер, духовный пастырь у прокаженных на Гавайских островах; умер от проказы.
- [12] *Тотем* — здесь: изображение божества, которого первобытные люди считали своим покровителем.
- [13] *Вермеер* Ян (Вермеер Делфтский) (1632–1675) — голландский живописец, автор небольших картин из жизни горожан.
- [14] *Стручковая фасоль* (фр.).
- [15] *Дорогая* (фр.).
- [16] *Агана* — раннехристианская вечеря любви, т. е. совместный ужин членов общины в подражание тайной вечере Христа с учениками.
- [17] *Шарпвилль* — поселок близ Йоханнесбурга в ЮАР, где в 1960 г. была расстреляна демонстрация африканцев.
- [18] *...роденовской бронзы.* — Речь идет о работах французского скульптора Огюста Родена (1840–1917).
- [19] *Разве кто-нибудь помнит, какая судьба постигла в конце концов Люсьена де Рюбампре?* — Люсьен де Рюбампре — персонаж романов Бальзака (1799–1850) «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок»; пытаясь утвердить себя в парижском свете, разбогатеть и сделать карьеру, Люсьен попадает в зависимость от уголовного мира и, боясь расплаты, кончает жизнь самоубийством.
- [20] *Маленькая птичка, которая садится быку на спину и питается насекомыми.*
- [21] *Роммель и Монтгомери воевали на ходу, из машин.* — Немецкий генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель (1891–1944) и английский фельдмаршал Бернارد Лоу Монтгомери Аламейнский (1887–1976) во 2-й мировой войне командовали войсками в Северной Африке и Нормандии (1942–1944).
- [22] *Неужели это Симон Петр?* — Имеется в виду апостол Петр, первоначальное имя которого — Симон.

- [23] *Фома Аквинский*(1225-1274) — католический теолог, причислен к лику святых.
- [24] *Никейский символ веры*— Общехристианский символ веры, утвержденный на Никейском соборе в 325 г.; состоит из 12 частей: в первых восьми говорится о троичности Бога, «вочеловечении» Иисуса Христа и искуплении грехов, четыре последних посвящены церкви, крещению, «вечной жизни».
- [25] *Апельсиновый сок* (фр.).
- [26] *Вся твоя* (фр.).
- [27] *Нам было хорошо* (фр.).
- [28] *Брижит Бардо* (р. 1934) — французская киноактриса.
- [29] *Другая страна, другие нравы* (фр.).
- [30] *Темную ночь* (исп.).
- [31] *Стэнли Генри Мортон*, настоящее имя и фамилия Джон Роулэндс (1841-1904) — английский журналист, исследователь Африки; находясь одно время на службе у бельгийского короля, участвовал в захвате бассейна реки Конго.
- [32] *О ты, моя тугая плоть...* — Шекспир, «Гамлет» (акт I, сцена 2). В переводе М. Лозинского эта строка звучит так: «О, если б этот плотный сгусток мяса...»
- [33] *Только не о самаритянине на дороге в Иерихон.* — Имеется в виду евангельская притча о жителе Самарийской земли, который, в отличие от других, равнодушно проходивших мимо, оказал помощь незнакомому путнику, пострадавшему от рук разбойников (Лк. 10, 30-37).
- [34] *Суинберн Алджернон Чарлз* (1837-1909) — английский поэт.
- [35] *Кто вы такой?* (фр.)
- [36] *Неужели... Цезарь действительно сказал: «И ты, Брут?»* — Эти слова древнеримского государственного деятеля, полководца и писателя Юлия Цезаря, обращенные к одному из его убийц-заговорщиков, приводит в своей книге «Сравнительные жизнеописания» древнегреческий писатель и историк Плутарх (46 — ок. 127).
- [37] *Геродот* (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории».
- [38] *Светоний Гай Транквилл* (ок. 70 — ок. 140) — древнеримский историк и писатель.
- [39] *Питт потребовал на смертном одре пирожков... но история вложила ему в уста другое.* — Уильям Питт-младший (1759-1806) — английский государственный и политический

деятель; официальные биографы утверждают, что он умер со словами: «Моя страна! Как же это я оставлю тебя!»

[40] *Имя мое написано на воде. Цитата. Из Шелли.* — На самом деле не из Шелли (1792-1822), а из другого английского поэта-романтика — Джона Китса (1795-1821).

[41] *Весь твой* (фр.)

[42] *Ле Корбюзье Шарль Эдуар*, настоящая фамилия Жаннере (1887-1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры.

[43] *Гропиус Вальтер* (1883-1969) — немецкий архитектор, дизайнер, теоретик архитектуры.

[44] *Нагорная проповедь*— моральное наставление, раскрывающее нравственные качества идеального христианина. С этим наставлением, согласно двум Евангелиям — от Матфея, 5-7, и от Луки, 6, Христос обратился к народу.

[45] *Воздвиг себе памятник* (лат.) — начальные слова оды древнеримского поэта Горация (65—8 гг. до н. э.).

[46] *Кончено* (лат.).

[47] *Счастливого пути* (фр.).

[48] *Матисс Анри* (1869-1954) — французский живописец, график, мастер декоративного искусства.

[49] *Джозеф Конрад*, настоящие имя и фамилия Юзеф Теодор Конрад Коженевский (1857-1924) — английский писатель.

[50] *Тоска, уныние* (фр.).

[51] «*Манон Леско*», полное название — «История кавалера де Грие и Манон Леско» — роман французского писателя Антуана Франсуа Прево д'Экзиля (1697-1763).

[52] *Ева Браун* (1912-1945) — любовница, а с 29 по 30 апреля 1945 г. — жена Адольфа Гитлера.

[53] *В крайнем случае* (лат.)

[54] *Я люблю тебя, дорогой. Я вся твоя* (фр.).

[55] *Сара Бернар* (1844-1923) — французская актриса.

[56] *Маргарита Готье* — героиня драмы «Дама с камелиями» французского писателя Александра Дюма-сына (1824-1895).

[57] Здесь — *любовь с первого взгляда* (фр.).

[58] *Природа — мой кумир, а вслед за ней — Искусство.* — Строка, принадлежащая не английскому поэту Роберту Браунингу (1812-1889), а английскому поэту и прозаику Уолтеру Сэвиджу Лэндору (1775-1864).

[59] *Убийство в состоянии аффекта* (фр.).